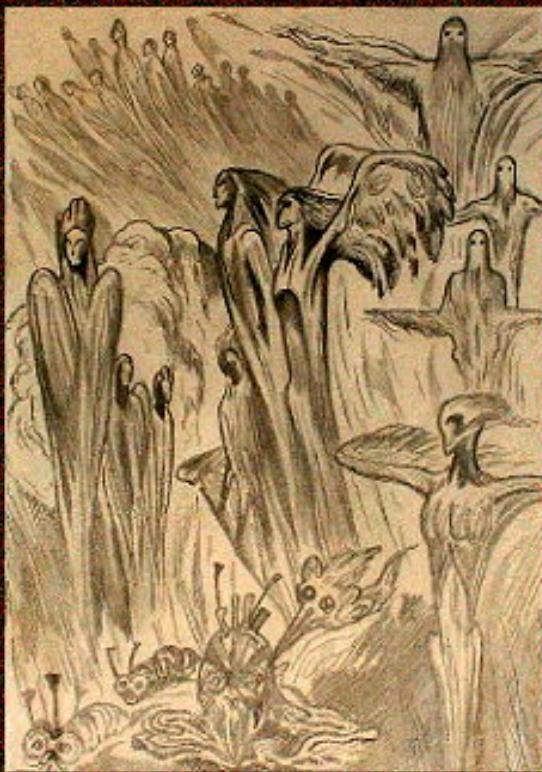


[Polaris]

Феликс Зейер



ДОМ ПОД
УТОПАЮЩЕЙ
ЗВЕЗДОЙ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCCLXXVIII



Salamandra P.V.V.

Юлиус
ЗЕЙЕР

ДОМ ПОД
УТОПАЮЩЕЙ
ЗВЕЗДОЙ

Составитель А. Степанов

Salamandra P.V.V.

Зейер Ю.

Дом под утопающей звездой. Новеллы. Пер. с чешск. Вл. Ленского и В. П. Глебовой. Илл. Я. Зрзавого. Сост., подг. текста и прим. А. А. Степанова. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2021. — 180 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCLXXVIII).

В книге впервые за многие десятки лет к читателю возвращаются произведения видного чешского поэта, прозаика и драматурга Юлиуса Зейера (1841-1901). Неоромантик, вдохновленный мифами, легендами и преданиями многих стран, отраженными в его стихах и прозе, Зейер постепенно пришел в своем творчестве к символизму и декадансу. Такова повесть «Дом под утопающей звездой» — декадентская фантазия, насыщенная готическими и мистическо-оккультными мотивами. В издание также включены фантастические новеллы «Inultus: Пражская легенда» и «Тереза Манфреди».



ДОМ ПОД
УТОПАЮЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ

(Из воспоминаний незнакомца)

Пер. Вл. Ленского



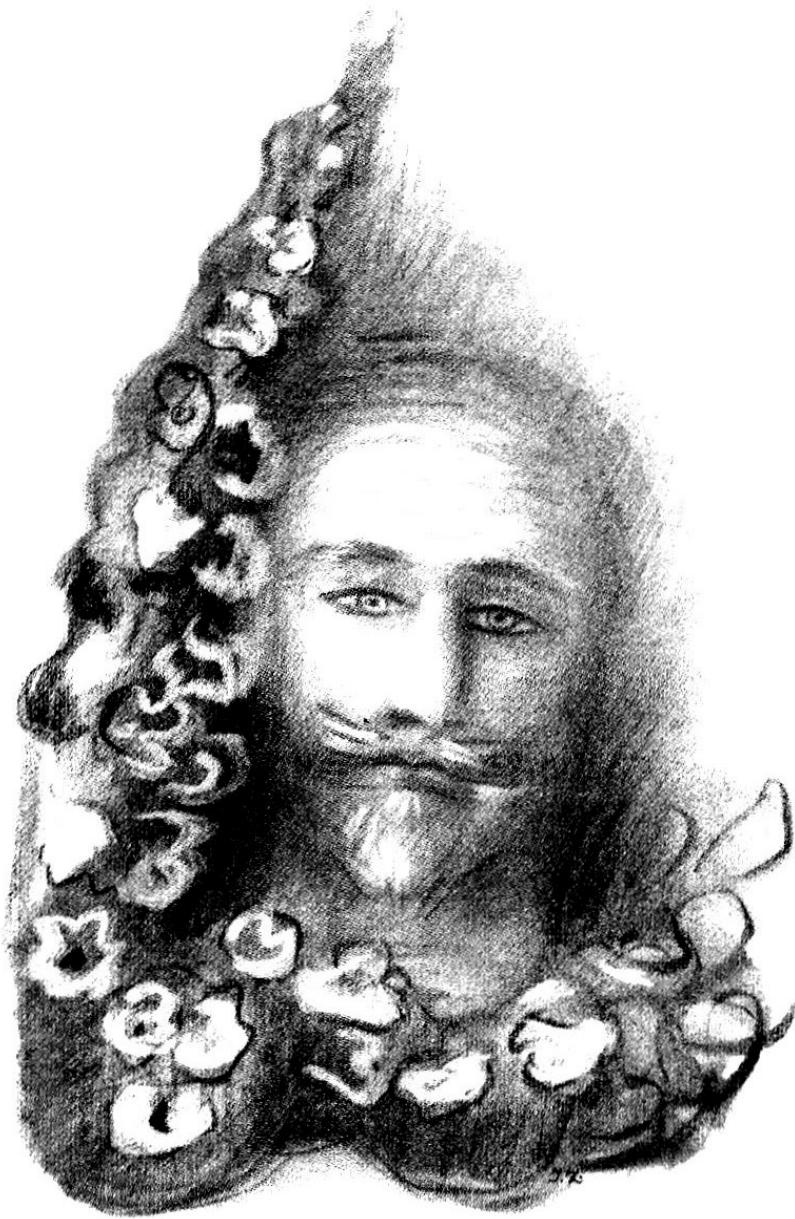
ЮЛІЙ ЗЕЙЕРЬ

ДОМЪ

„ПОДЪ УТОПАЮЩЕЙ
ЗВЪЗДОЙ“

ПЕРЕВОДЪ СЪ ЧЕШСКАГО
ВЛ. ЛЕНСКАГО

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
ВЛ. БОГУШЕВСКАГО
С.-ПЕТЕРБУРГЪ





Остаток старого, вернее, даже древнего Парижа, расположенный вокруг церкви св. Юлиана, случайным посетителям французской столицы обыкновенно так же мало известен, как и сама древняя, переходно-готическая маленькая церковь, которая, даже при теперешнем своем убожестве и ободранности, принадлежит еще к наиболее редким и интересным памятникам парижского строительства.

Соблазненный архитектурными красотами, я посещал церковь св. Юлиана очень часто и обыкновенно под вечер, когда в ней служились вечерни. В сумраке умирающего дня и в дыму кадильниц присутствующие при богослужении верные казались необычайно интересными... Церковь была оставлена, собственно, для живущих в Париже сирийских христиан, и их высокие фигуры, темные глаза, смуглые лица придавали всему собранию какую-то чужую, необыкновенную физиономию. Я чувствовал себя там как будто за тысячу миль от Сены и бульваров и ощущал веянье далекого Востока, который обнимает меня всегда таким мечтательным очарованием и так же таинственно ласкает мне лицо, как Библия, когда от нее веет неуловимый дух божества, прежде чем оно само заговорит.

Кроме того, окрестности св. Юлиана, благодаря своему более южному характеру и печати минувших веков, невыразимо живописны, особенно под вечер, в тихой и все же теплой окраске несравненных парижских закатов, в волшеб-

стве голубоватых, просиянных сумерек, которые так чудесно идеализируют самые банальные улицы. Вся эта обстановка живо напоминала мне часть старой Флоренции, это было что-то вроде Mercato Vecchio* с еврейскими улицами за ним, пока эти почтенные памятники минувших эпох не рухнули под топором модернизирующего безумия и бездушной строительной спекуляции.

Я получил истинное артистическое наслаждение, при сматриваясь к соседним со св. Юлианом постройкам, этим высоким почерневшим домам, приближающимся к руинам и мрачно возвышающимся к светлым небесам, этим таинственным достояниям, за непомерно низкими дверями которых, или же, наоборот, за высокими, обветшалыми порталами — открывались перспективы темных переходов, коридоров и деревянных лестниц. Особенно эти лестницы часто влияли на мое воображение: я не удивился бы, если б вдруг с которой-нибудь из них полилась струя крови, — до того трагически они выглядели!

Что только могло твориться в этих домах!

Вон там, на четвертом этаже, где в окне сидит черный кот, какой-то иной, чем другие коты, могла бы жить колдунья; а эта старая женщина с висящими седыми волосами, непонятно бранящая кого-то в окне пятого этажа и с дикими жестами потрясающая обеими руками в пространстве, — без сомнения ездила в темные ночи по воздуху на «черные месссы» самого дьявола.

Но зато на несколько окон дальше могла жить сама поэзия, воплощенная в молодую, красивую девушку, выросшую из уничтоженных веками руин, точно сказочная волшебная лилия. Все ее оконце в доме, по своей черноте похожем на какой-то заклятый замок, обросло свежим ясно-зеленым вьющимся растением с красными, как пурпур, цветами; золотые лучи солнца мигают среди листьев, а сладостное, протяжное пение маленькой птички из-под густых зарослей плывет в повседневный гул улицы.

* Старый рынок (*um.*).

Э тот дом интересовал меня больше всех других. Я допустил предположение и был упорно убежден, что там живут люди чрезвычайно интересные. Выходя из церкви св. Юлиана, я всегда невольно останавливался перед этим строением и с любопытством приглядывался к нему.

Однажды, когда с него сняли испорченную вывеску какого-то торговца железом, который, очевидно, разорился (вывеска выглядела такой несчастной!), я увидел скрытый под ней растресканный знак, вероятно, остаток бывшего портала. Я ясно рассмотрел на этом щите геральдически стилизованные волны и среди них звезду. С этой минуты я окрестил этот дом: «Под утопающей звездой». Благодаря этому гербу, он показался мне еще интересней, и я еще сильнее желал проникнуть когда-нибудь в его темную, мрачную внутренность.

Как-то мне представилось нечто вроде возможности исполнения этого желания.

Я стоял на тротуаре, засмотревшись в коридор, ведущий к лестнице, когда вдруг из его мрачной глубины вышла женщина. Она была немолода и очень некрасива. Она смело обратилась ко мне, противно усмехнувшись и хриплым голосом стала звать меня к себе. Вместе с этим, она рассматривала меня с головы до ног. В ее поведении было что-то подозрительное, что-то выходящее за пределы ее ремесла; в ее глазах горела какая-то проницательная пытливость, которая невольно наводила на подозрение о преступлении. Я не ответил ничего. Но она без слов угадала мой отказ. Она нахмурилась и произнесла какую-то грубость. Мне не оставалось ничего другого, как уйти, — и в этот день я немножко отрезвился от своих романических бредней.

Приблизительно через неделю после этого я снова подошел к св. Юлиану. На этот раз в церкви было довольно тесно — и я остановился недалеко от входа. Через минуту я услыхал около себя вздох, но такой необыкновенный, очевидно, вырвавшийся с самого дна груди, вызванный, вероятно, каким-то незаурядным горем, вздох такой невыразимо тяжелый, что я с волнением обернулся к человеку, кото-

рый так сильно страдал. Я увидел в шаге от себя у колонны немолодого мужчину, прилично, но бедно одетого, с лицом, собственно говоря, неинтересным, невыразительным, за исключением темных, задумчивых, глубоко-печальных глаз. Не было похоже, чтобы он молился. Правда, он в эту минуту шевелил губами, но скорее нервно, беспокойно, нетерпеливо, потом провел по лбу пожелтелой, сухой, одухотворенной рукой, вздохнул снова, но уже легче, чем прежде, снова откинулся назад голову, в каком-то изнеможении щуря глаза и, наконец, не перекрестившись, не взглянув даже в сторону алтаря, повернулся и медленно вышел из церкви.

Он производил на меня впечатление человека, который хотел бы быть набожным, но не в силах. Я чувствовал, что и я не буду в силах сделать это, и что в этой церкви, куда отчасти любопытство, отчасти артистические занятия привлекли меня, я совершенно не на месте. Я так же механически вышел из церкви со скверным чувством отлученного. Вдруг я увидел того же мужчину, переходящего через улицу и направляющегося прямо к таинственному дому «под утопающей звездой». Я погнался за ним, действуя словно без воли, как бы во сне, и стал возле него как раз тогда, когда он входил в дверь.

— Послушайте! — сказал я.

Он оглянулся, равнодушно посмотрел на меня и ответил:

— Что вам угодно?

Только теперь я почувствовал комичность свою и своего положения. Как же было так вот, одним словом, высказать и объяснить этому незнакомцу всю цель более или менее неопределенных фантазий и романтических предположений, которые я создал у себя в душе под впечатлением старого дома? В эту минуту я сам не знал хорошо, чего я хочу. Войти в дом? Кто же мне запрещает? Проникнуть в его тайны? Но были ли они? Познакомиться с этим незнакомцем? Зачем? Потому, что он вздохнул и что жил «под утопающей звездой»?

Я слегка покраснел, по счастливому вдохновению вытащил из кармана собственный платок и, заикаясь, солгал:

— Мне кажется, вы потеряли вот этот платок?

Он механически потянулся к карману и вежливо ответил:

— Нет. Вы ошибаетесь. Благодарю вас.

Он приподнял шляпу, кивнул головой и пошел. Скрылся во мраке коридора, и я слышал скрип трясущейся лестницы, с которой все еще не полилась ни одна струя крови. Я смеялся над самим собой так бешено, что должен был сдерживать свой смех платком, который, как спасенное знамя после неудачного боя, остался у меня в руке. Все произошедшее показалось мне теперь таким удивительно смешным, что я от одного только стыда прекратил свои хождения к св. Юлиану. Вследствие этого отрезвления, дом «под утопающей звездой» потерял для меня на время всю свою прежнюю притягательность.

Я в то время был очень занят. Больница, в которой я работал, была переполнена. Особенно много было нервных «субъектов», как там говорили, и все с совершенно новыми для меня припадками. Занимало это меня чрезвычайно, так что на некоторое время я забыл обо всем, кроме своих специальных трудов; ни развлечения, ни творчество не привлекали меня теперь совершенно. Мой дух переживал кризис, или, лучше сказать, начал вступать на путь, ведущий к позднейшему кризису. Вдохновением для этого были именно эти «нервные субъекты» в нашей больнице, а также некоторые опыты с сомнамбулистками, которых я видел в клинике Salpetrière. До того времени неуклонная вера моя в безошибочность нынешних знаний, в сознательный позитивизм именно теперь начала колебаться, а моим глазам, изумленным и не решавшимся еще смотреть и наблюдать без страха, открывался среди таинственных мраков и мглистых покровов новый, непредугаданный источник познания, льющийся из каких-то бездонных глубин.

Часто, думая или производя опыты, я ощущал внезапное головокружение и чувствовал, что земля ускользает у меня из-под ног. Иногда я ходил сам как сомнамбула, неверными шагами, по своей длинной, узкой комнате, — и вдруг меня охватывал какой-то неопределенный страх, как будто через минуту я должен был потерять рассудок. Я тогда хватался за шляпу и убегал из дома.

Шатание и блуждание по парижским улицам, где кипело кругом такое бодрое, веселое, беспечное движение — обыкновенно действовало на меня тогда, как отрезвляющий душ. Такие прогулки большей частью заканчивались посещением маленького, но элегантного кафе на бульваре Сен-Мишель, куда перед вечером сходились на веселую беседу мои коллеги после трудов.

Когда однажды, задержанный дома каким-то болезненным истощением, после двухдневного отсутствия, я появился на этой нашей сходке, собравшиеся друзья приветствовали меня, как после, по крайней мере, пятилетней разлуки.



— A propos, — сказал мне один из них, Анатоль, когда я после приветствий стал расспрашивать их, что нового в больнице. — A propos, Северин, я вспоминал тебя вчера с необыкновенным интересом. Ты владеешь, не знаю, сколькими сотнями языков, и знаешь, что мы, французы, обыкновенно только знаем кое-как наш отечественный.

Я был принужден улыбнуться. Славу сказочного лингвиста я приобрел необычайно дешево. По какому-то поводу случайно выяснилось, что я во время своего пребывания в Англии и Италии выучился местным языкам, потом открылось у чехов знание немецкого языка и, наконец, элементарное знакомство с такой таинственной для французов скривищницей разных славянских наречий. Когда мои товарищи увидели меня как-то читающим какую-то русскую газету, не помню теперь, в какой кофейне, их невероятно заинтересовала эта «азбука».

— Что же тебе так живо напомнило мою ученость? — спросил я Анатоля в ответ на его шуточно преувеличеннное упоминание о моем знании языков.

— Представь себе, — ответил он, — во время твоего отсутствия на улице случилось несчастье. Перевернулся омнибус и было много людей, более или менее тяжело раненых. Одного из этих несчастных привезли в нашу больницу. Ночью наступила сильная горячка, и он громко бредил. Сначала он что-то нес по-английски; а потом, в каком-то глубоком волнении, начал говорить с трагическим акцентом на каком-то совершенно чуждом мне языке, чрезвычайно мелодичном, но странном, экзотическом. Я не знаю, был ли это индийский язык или какой-нибудь славянский. Вот тогда мне и пришло на ум твое знание.

— Увидим завтра, — сказал я, и разговор об этом прекратился.

На другой день утром я не дошел в больницу, как предполагал накануне вечером. Как-то не был расположен. Я был как-то беспричинно, глубоко расстроен. Напрасно доискивался я, что со мной, что могло вызвать эту грусть и это неопределенное беспокойство.

Наконец я решил, что ночью мне снился какой-то скверный сон, которого утром я уже не помнил, но от которого в душе у меня осталось что-то, как бы черная тень.

Я вышел из дома рано. Утро было прекрасное, и когда я очутился над Сеной, ее сверкающая свежестью вода потянула меня к поездке по легко колеблющимся волнам. Я сел на отходивший кстати маленький пароход и поехал вниз по реке до Сен-Клу. Там не было ни души. Я долго, с истинным наслаждением ходил под шумящими деревьями. В скромном ресторане я, также совершенно один, сел к позднему завтраку, а потом ходил опять до тех пор, пока не упал в изнеможении в траву на пригорке, с которого открывался обширный вид. Мое утреннее плохое настроение исчезло без следа, — и я чувствовал в душе гармонию и спокойствие.

В тихом экстазе я обнимал небо и землю, чувствовал, что я должен поцеловать ее, «нашу мать-землю», как с поэтической трогательностью поет народ, но вдруг, среди этого восторга от солнечной ясности, мне опять упала на сердце какая-то необъяснимая меланхолия, точно тень от протянувшейся через небосклон тучи.

Мне показалось вдруг, что я смотрю на эту нашу мать-землю с какого-то пункта, находящегося за ней, и я видел ее всю, всю, а не только эту ее часть, которая была предо мной, видел, как простиралась она в объятиях неизмеримого горизонта, до ограничивающих ее у края неба мглистых пространств. И в то же время я знал, благодаря какому-то проблеску памяти, что ночью, в забытом утром сне, я так именно увидел ее всю, и этот мираж на мгновение снова предстал предо мною во всей своей выразительности... Всю ее видел я, нашу землю, бешено летящей куда-то к неизвестной, неведомой цели. Куда? Куда и зачем? Кто ответит на этот вопрос?..

Я видел ее, как летела она через головокружительную пустоту, не только в это мгновение, но от незапамятного, давнего начала к необъемлемому, необозримому будущему, без дыханья, воя, наудачу, как зверь, затравленный ужасом какой-то невидимой разъяренной своры, более чем титанической, невообразимо ужасающей, непреклонно мощной. Летела, покрытая пеной своих разбушевавшихся вод и морей, с ощетинившимися волосами своих старых лесов, с нерегулярно и дико стучащим сердцем своих вулканов, с пылающей мыслью своего живущего человечества и с печалью своих замерших, ушедших в прошлое цивилизаций... Вокруг нее, в этом страшном полете, сияла лазурная слава ее горизонта, божественная улыбка над безднами ужасов, а в ее древней памяти мигали призраки гранитных египетских святынищ, белых эллинских мраморных храмов, и высились кверху, победив воздушно материю, своды готических церквей...

В груди ее гремела сверхчеловеческая поэзия Исаии и Эсхила, звенели отзвуки Илиады и Рамаяны. С гигантскими фанфарами бронзовых труб и с магическим шелестом золотых арф смешивалась жалоба людской нищеты и муки звериной, — но выше этих вздохов неизмеримой печали вздымался, как радостный прибой волн, гимн побеждающей небо души человека, гремели, равные божеским, хоры людских стремлений к идеалу, и в смертельном страхе мать-земля прижимала, как высшее утешение и святейшую гордость, горсть полевых лилий из божьего царства и белый лотос Будды к тяжко дышащей и болезненно стонущей груди!..

И простер я руки к этому видению, и закричал в своем сердце: «Куда так неуклонно стремит тебя, о, наша мать, твоё предназначение? Ближе к гибели, или к Богу? Ангел или демон влечет тебя, о, мысль человеческая, о, человеческий идеал? Упадешь ты в ничто или возрастешь до небес? Неба не хватит тебе, и оно не обнимет тебя!.. И однако — горе, если бы ты должна была только исчезнуть без следа и если б пустое ничто было твоей целью!..»

Руки опустились у меня, я спрятал лицо в высокой траве, безгранична мука сжала мне сердце, мне так невыразимо жаль было человеческой мысли и усилий, тяжелая как олово тень упала на меня, все людские стремления показались мне тщетными, всякая любовь — пустым сном, всякое человеческое знание — ничтожеством. Демон отчаянья стал надо мной, и та тяжкая, черная тень падала от его крыльев.

Я чувствовал, что во мне будто все рухнуло, и что мое маленькое «я» засыпали камни разрушающегося здания, подрытого противоречием. Я тихо лежал в траве с закрытыми глазами, не жил, а только дышал и чувствовал свою тяжесть. Но что-то, что было выше этого дышащего тела, было за этой тяжестью, что-то вроде какого-то иного существования, которое и с дыханием, и с тяжестью не имело ничего общего, но которое было, однако, в моем сознании телесного человека, стало показываться мне наподобие сна: я с изумлением чувствовал себя — так сказать — одним в двух лицах. Это было как гром и как сон, как откровение и вместе с тем наблюдение: я открыл себе и смотрел на себя. Все это я чувствовал очень неясно, но был доволен тем, что тень отчаянья и сомнения расплылась, как мимолетная туча.

Мое сверхматериальное «я» отзывалось в моем ограниченном материей сознании, как звезда, блеснувшая на мгновение во мраке. В эту же минуту запел носившийся надо мной жаворонок, его светлая песня теплой струей полилась в мое сердце и пронизала меня насквозь, точно луч света. Это сладкое пение было для меня как будто словом надежды. Мне вспомнилась маленькая поэма Шелли о жаворонке. «*And singing still dost soar, and soaring ever singest*»*, — прошептал я, и моя туча развеялась.

С сердцем, правда, менее легким, чем тогда, когда я пришел на этот холм, но без сравнения менее мрачным, чем минуту назад, я сошел вниз к реке и поплыл обратно в город. Во время езды я не мог удержаться от размышлений,

* «И с песней в высь летиши, и, в высь летя, поёшь» (пер. К. Д. Бальмонта).

но все же принуждал себя принимать участие в веселом разговоре товарищей по путешествию. Где-то на берегу как раз строили дом.

«Трудись, — тихо сказал я себе, — трудись, как вон те работники. Каждый из них совершаet свое дело и не размышляет о целом, которое не он проектировал и за которое не он отвечает...»

Но я сразу же почувствовал кривость этого сравнения — и оно не успокоило меня. Изо всей этой параболы я запомнил одно только слово «трудись», и решил поступать согласно с ним. Поэтому, когда мы подошли к пристани города, я отправился прямо в нашу больницу, хотя день склонялся уже к вечеру и я знал, что сегодня уже не очень там нужен.

Bоридоре больницы я встретил Анатоля. Он издали поздоровался со мной, говоря с улыбкой:

— Как ты вовремя! Будто по зову! Больной как раз бредит на этом особенном языке. Иди, послушай и удовлетвори мое любопытство.

Он потянул меня за руку в большую комнату, из которой только что вышел. Воздух там был чист, так как около стен стояло сравнительно немного кроватей, а под открытыми окнами шумели старые деревья больничного сада. Смотревшее в комнату небо было ясно, все бледно-желтое, каким бывает оно в минуту начинающегося заката; на этом желтоватом фоне мелькали изящные силуэты ласточек, а щебетанье воробьев весело врвалось в залу.

У постели, к которой вел меня Анатоль, сидела сестра милосердия; из этой больницы монахини не были еще грубо изгнаны. Когда мы подошли, она спокойно встала; она не была ни молода, ни красива, но выражение ее лица было приятно, а поведение полно бессознательного достоинства. Она что-то взяла и удалилась неслышными шагами.

Я взглянул на больного. Это был уже немолодой мужчина, не имеющий в своем лице ничего особенного, за исключением чрезвычайно выразительных и светящихся теперь увеличенным в жару блеском глаз. Казалось, он взглядом провожал уходившую монахиню. Он говорил полушепотом, в каком-то порыве, голос у него был мягок, из него струилось что-то мечтательное. Но все же он не говорил ни на каком экзотическом языке и бредил в эту минуту хорошей английской речью с очень незначительным иностранным акцентом.

— Это старшая из тех сестер, — говорил он, будто читая, — старшая из тех сестер...

— Кто? Эта сестра милосердия? — спросил Анатоль, который довольно хорошо знал по-английски.

— Милосердия? — с изумлением спросил больной. — Не знаю, не знаю...

Взгляд его обратился к потолку; он помолчал и потом опять заговорил:

— Мать Слез, самая старшая из трех... *Mater Lactima-*

rum! Та, что зовет исчезнувших навеки! Она стояла в Раме, где был слышен жалующийся голос, — Рахиль, плачущая о детях своих и не могущая утешиться! Она стояла в Вифлееме, где меч Ирода убивал младенцев... Мать Слез, Мать Слез!..

Он закрыл на минуту глаза, потом вдруг широко раскрыл их и, к моему великому изумлению — заговорил на чистейшем словацком языке:

— Звезды, звезды, звезды! Сколько их, сколько их! Целый ливень — а вот, демон влачит нашу землю, держит ее за ее зеленые волосы, летит с ней, летит, летит! Он погружается с ней в белую пену бушующего Млечного пути, в водоворот безумно вырвавшихся из орбит созвездий, в мутность чудовищных планет, в раскаленность лопающихся с грохотом солнц! А теперь он влачит ее через черную пустоту! Стонет наша старая мать, стонет с отчаяньем! О, мать, как окровавлена ты, как запятнана ты распутством! Но все же жаль мне тебя. Не суди ее, Бог, — если Ты существуешь!..

При последних словах он дико, безумно захохотал. Я стоял, как окаменелый. Это видение бредившего больного так поразительно было сходно с моим, которое я пережил недавно на холме Сен-Клу, что в первую минуту я не знал, не подвергаюсь ли я какой-нибудь слуховой галлюцинации, или не сплю ли я, и не снится ли мне опять тот же сон в измененной форме?

— Что он говорит? Ты понимаешь его? — шепотом спрашивал меня Анатоль, и, не получив ответа, беспокойно добавил: — Ты бледен, смотришь так странно, — что с тобой?

Не обращая внимания на Анатоля, я наклонился к большому и сказал ему по-чешски:

— Вы знаете меня?

Вопрос этот не имел никакого смысла, потому что я и сам не знал, для чего это спрашиваю. Больной смотрел на меня молча своим хмурым взглядом. Мой чешский оклик даже не удивил его, как вообще ничто не может удивить бредящего или грезящего в жару.

— Знаю, знаю, конечно, — через минуту ответил он.

— Кто же я такой? — спросил я.

— Тот, кто идет по краю пропасти, — ответил он.

Этот ответ глубоко взволновал меня; я невольно задрожал. Ведь то, что говорил он — была правда, — разве я действительно не колебался над пропастью загадок и сомнений?

Анатоль, видя, что я молчу, сам спросил о чем-то большого, но на этот раз тот проявил большое нерасположение отвечать.

— Оставьте меня, господа, в покое, — сказал он, — сон клонит меня, я утомлен; разве вы не видите, как я страдаю, страдаю?..

И глубокий вздох вырвался у него из груди, такой тяжкий, такой особенный, такой необыкновенный, что я весь вздрогнул. Не слышал ли я уже этот вздох? Как по внезапному откровению, я узнал теперь человека, лежащего передо мной в постели; это был тот самый незнакомец, который своим необыкновенным вздохом в церкви св. Юлиана так поразил меня недавно. Как я мог не узнать его с первого взгляда? Как я мог не узнать этих темных, смертельно печальных глаз, которые он закрывал теперь!

Он молчал и дышал довольно спокойно. Сестра милосердия вернулась, и в то время, когда я, возбужденный и расстроенный, всматривался в бледное лицо больного, тихо разговаривала с Анатолем, который, наконец, видя, что я не двигаюсь, потянул меня за рукав.

— Пойдем, — сказал он, — не будем мешать ему спать... У него что-то вроде тифа, это очевидно, — добавил он в коридоре. — Раны, полученные при падении омнибуса, у бедняги являются лишь добавлением. Но ты не сказал мне еще, на каком языке он бредил?

Я сказал ему это, объяснил покороче, о чем он бредил, — и мы разошлись.

Bпечатление этого дня было глубокое; я чувствовал, что я сильно, прочно связан с больным, который долго лежал в нашей больнице; я старательно посещал его по несколько раз в день и с истинной радостью делал для него всевозможные услуги. Он был благодарен мне за эти доказательства искреннего сочувствия, и понемногу между нами начало развиваться что-то вроде тихой, скромной приязни.

Я не проявлял никакого любопытства, а больной видимо избегал откровенностей относительно своих жизненных путей. Он был словак по происхождению и звали его Даниэль Ройко. В настоящее время он был небольшим частным служащим в какой-то крупной промышленной фирме в Париже. Когда он сказал мне об этом в период ближайшего, более откровенного нашего знакомства, то улыбнулся, но улыбке сопутствовало страдальческое, какое-то горькое сжатие губ.

— Как немного, — сказал он словно невольно, — добился я в жизни! Что осталось у меня от большой когда-то гордости, фантастических планов, химерных снов, утопических усилий и стремлений?

— Так было со всеми нами, — грустно сказал я. — Мир обманывает нас.

— Нет, — задумчиво возразил он, — мы обманываем себя сами. Мы ищем в людях и в мире всегда только то, что создадим сами в своей глубине, и если то, что мы нашли, не соответствует тому, чего мы искали, — мы жалуемся и все проклинаем.

— Вы к себе слишком строги, — сказал я.

Он не ответил и глубоко задумался.

— Я так бесконечно жалок, — прошептал он через минуту так тихо, что я едва услышал эти слова.

Он посмотрел на меня.

— Когда-нибудь, — добавил он, — я расскажу вам кое-что о себе, — может быть...

Я ничего не ответил, не проявил ни малейшего любопытства — и это не было искусственно. Выражение его глаз было так бесконечно печально, что сострадание превозмог-

ло во мне все другие чувства. Только, прощаясь с ним в этот день, я пожал ему руку горячей обыкновенного.

Долгое время потом у нас с ним не было подобного разговора, и я уже даже не думал о его обещании рассказать мне кое-что о своей жизни, как вдруг однажды в больничном саду Ройко, сидя со мной уже как выздоравливающий под тенью старого платана на деревянной скамье, не помню уже, в какой связи с нашей тогдашней беседой, вдруг стал рассказывать следующее:

— Я — сын протестантского пастора, из Турчанского округа. Мое раннее детство было такое счастливое, ах, такое бесконечно счастливое! Мои родители, друзья их, даже все жители нашего маленького прихода просто боготворили меня. Я обладал необыкновенными, блестящими способностями. Теперь я могу сказать это без самохвальства; тем более что — увы! — должен сразу же прибавить, что эта чудесная талантливость была, как и у большинства детей, только преждевременной зрелостью, непропорциональным по отношению к возрасту развитием умственных сил. Ах, это было моим первым несчастьем, так как, дойдя до возраста, когда мои способности должны были существенно проявиться, все обещающие задатки упали до совершенно обыкновенного уровня, а изумленным родителям, и в особенности отцу, показалось даже, что ниже обыкновенного.

Отец мой был из числа тех идеальных патриотов минувшего времени, какие были и в Чехии. Я — его единственное дитя — был и его единственной надеждой; и он в своем экстазе заходил так далеко, что принимал меня даже прямо за какого-то призванного спасителя, который когда-то будет совершать чудеса для бедного словацкого народа. В это заблуждение его, очевидно, вела эта моя преждевременная зрелость. Он бессознательно сеял в моем уме чарующие призраки, будил стремления к чему-то, что никогда не могло исполниться, и таким образом сделался причиной многих горьких испытаний в моей позднейшей жизни. Но мало того, что бедняк обманывал и себя и меня, и — хоть невольно — вел меня на мучения, мало, что он требовал от меня того, что исполнить было не в моей силе, —

в конце концов, когда я не становился тем, чем он ожидал, он делался суровым, пасмурным, несправедливым, даже строгим, особенно после смерти моей рано умершей матери. Она, хотя сама также чувствовала себя обманутой, все же иногда принимала меня под свою защиту; с ее же смертью окончилось мое детское счастье и, могу сказать, счастье всей моей жизни, так как с тех пор земной путь сделался для меня непрерывной нитью удручений и горечи.

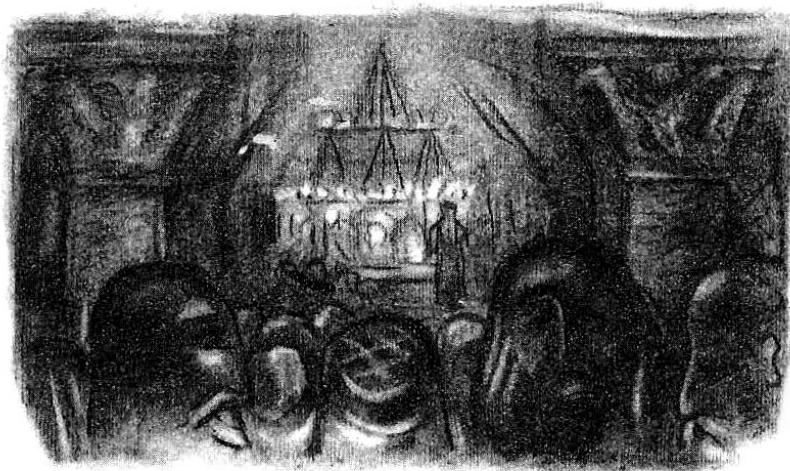
Он на минуту умолк, и потом как-то устало, грустно заговорил:

— Быть членом этого придавленного, порабощенного словацкого народа, чувствовать его унижение — это все равно, что родиться под проклятием, тяжким проклятием! Иметь в груди сердце, которое может возмущаться, и видеть, как эти несчастные тупо переносят свою долю — разве это не отчаянья из отчаяний?

Над сыном словацкой земли, который не хочет и не может стать отступником, тяготеет что-то, как приговор древнего фатума. Он не дышит, как другие люди, он находит полынь в каждом куске, яд — в каждой капле воды! Если в нем есть сила титана и безмерная любовь, дух его, посредством постоянной борьбы и возмущений против предназначения, может возрасти до небес, гордость даст ему крылья, а любовь будет для него источником вдохновения. У меня же не было этой силы, я имел только любовь. И теперь мне кажется даже, что, собственно, у меня не было и этой великой любви; у меня скорее было больше ненависти к врагам, чем любви к своему народу; я, очевидно, больше возлюбил свою ненависть, чем свой народ!

Вот теперь, после стольких, стольких лет, когда я уже постарел, когда, прожив почти всю жизнь на чужбине, я вспоминаю скорее местность, в которой протекли мои детские годы, чем свой народ, теперь — повторяю — я уже сам не знаю, осталось ли еще что-нибудь у меня от той мнимой любви; все там, в отдалении, в горах — так мне чуждо, так далеко, — но что у меня осталось, что никогда во мне не погаснет — так это пламенная ненависть, пальящая, как ад, ненависть к тому туранскому племени мадьяр, которое от-

няло у меня родину, свободу, воздух, покой — и все, что для человека может быть дорогим и святым.



Эта когда-то дикая, гнусная орда, которая, без примеси славянской и румынской крови, не имела бы даже европейской внешности, не утратила ни капли своей азиатской хитрости, — и этим ей удалось обмануть весь мир. Она теперь властвует, но благодаря силе, а не праву. Нужно стыдиться за арийскую Европу, что она позволяет этим туранским фиглярам так обходить себя. Но арийская Европа до такой степени оматериализировалась, что лишилась своего арийского идеализма и благородства почти совершенно. Она поклоняется только одному идолу рядом с мамоной: *успеху*. А эти туранцы достигали успеха всегда подступом, обманом, интригами, но никогда каким-либо рыцарским приемом или геройской борьбой, как в этом они убеждают себя и других. Славяне, особенно западные, вели иные бои, — а какую им пользу принесло это? Они не умели интриговать при дворах королей, и Европа ничего не знает об их геройствах, они никого не интересуют, потому что не имели успеха.

Ах, эта Европа! Я не люблю ни Францию, ни Англию, ни Италию, ни Россию. Из небольших народов я уважаю, мо-

жет быть, одну только Норвегию. Эта наша нынешняя Чехия!.. Нет, она не вызывает во мне никакой симпатии. Я знаю ваших соотечественников, знаю, на что они были способны у нас... Ах, это человечество! Грустное, поистине, явление!..

Глаза его горячо пылали. Я взял его за руку, сосчитал пульс.

— Не говорите с таким воодушевлением, — сказал я ему.
— Вы грустно правы, но я не буду вас слушать, если вы не успокоитесь.

— Да, да, — усмехнулся он, — я понимаю. Дело идет о моем здоровье, не правда ли? Конечно, ведь это сокровище!.. Ну, так я буду спокоен. И зачем, собственно, я говорил обо всем этом? Ах, да! Я хотел вам рассказать о себе. Удивительно, как человек охотно говорит о себе, как будто у него не нашлось бы поговорить ни о чем лучшем! Да, впрочем, и, действительно, не нашлось бы, так как все эти близнецы его совершенно такие же, как он. Но не будем развлекаться глубокими размышлениями. Итак — вот моя жизнь. Не бойтесь, я скоро справлюсь с ней, хотя я мог бы написать о ней десять томов, это мог быть целый новый *Gil Blas!* *Gil Blas** — каждый, кто по внутреннему стремлению или под влиянием обстоятельств добровольно покидает родимый угол для погони за иным счастьем, менее определенным, чем нахождение заработка на кусок хлеба...

Итак, меня послали в школу, где успехов я не оказал. Виною этому не было отсутствие особенных способностей: другие и без них учились все-таки и с лучшим, чем я, результатом. Я имел большой и несчастный недостаток, коренящийся в основе моего существа и характера: я не мог отказаться от *мечтаний*. И не могу до сих пор. Часто случалось, что среди того, что люди обыкновенно называют действительной жизнью, но что, наоборот, скорее есть жизнь искусственная, старательно составленная из самых плоских потребностей, условий, лживости, подлости и отступлений

* Жиль Блас — герой плутовского романа А. Лесажа «История Жиль Бласа из Сантильяны» (1715-1735).

от того, что в нас есть лучшего и наиболее благородного, — случалось тогда, что среди этих серьезно принимаемых бanalьностей меня поражало вдруг ничтожество и ненужность всего, за чем люди гонятся, из-за чего грызутся, как собаки за кость, и мною овладевало такое отвращение, что я с наслаждением уничтожил бы себя, или, по крайней мере, убежал куда-нибудь далеко, где нет таких отношений.

Еще в средней школе я изумлял людей тем, что у меня принимали за чудачество и упрямство. Я, например, очень добросовестно готовился к экзаменам, как и другие, с намерением хорошо сдать их. Но как только мне приходилось увидеть этих надменных бакалавров, которые по-инквизиторски, со смешно-серьезными минами задавали вопросы, точно желая загнать меня в ловушку, — мне вдруг становилась противной всякая наука, о которой шла речь, а иногда меня потрясал гнев, потому что у меня было такое впечатление, будто эти иссохшие души профанируют предметы, к которым прикоснутся. Гомер в руках такого придиравшегося к словам педанта, который о поэзии не имеет никакого понятия, производил на меня впечатление розы в лапах ощупывающей ее обезьяны. История, набивающая наши головы полумертвыми анекдотами, возбуждала во мне отвращение издавна, так как она до глубины души возмущала все существо мое, распевая гимны в честь эллинских героев, сражающихся с персидскими наездниками, и не желая ничего знать о тяготах словацкого народа, восхваляя римскую любовь к свободе и каю, как бунт и преступление, каждое наше более свободное движение!

Удивительно, сколько пламенной ненависти может проникнуть в маленькое, полудетское сердце!..

Так вот, когда мне задавали вопросы, я смотрел, скажем, на луч солнца, золотой, дрожащий, проникающий из свободного пространства в скучную, тесную школьную залу, слушал щебетанье воробьев на дворе — и ум мой сразу наполнялся мечтами и тоской! В этой тесной тюрьме придавленной жизни меня охватывала вдруг жгущая жажда свободы и простора. Солнечный луч вдруг выколдовывал пред моими глазами какой-то безбрежный край, где колыхались деревья, струились воды, где не было никаких предписаний и правил! Какое мне было дело до всей этой лжи, которую вколачивали в нас, до всех пут и границ свободы? Мне не нужно было никаких общественных строев и приспособлений — у меня была своя душа и свой Бог. Как же безумен я был, что жил там и покорялся этому ярму! Разве же нет где-нибудь за шумными морскими просторами счастливых островов, где еще можно жить, как живут птицы, так свято и свободно? О, убежать туда, далеко-далеко, покинуть все за собой; из всего, что я когда-нибудь слышал — не брать с собой ничего, кроме тех слов Евангелия, которые врезались мне в душу, и кроме тех старых песен, которые в своем смертном удручении наш словацкий народ поет в горах!.. Ничего больше не нужно, по крайней мере, мне, а ведь дело касалось только меня. Другие пусть живут, как им хочется...

Так мечтал я в душной школьной зале и на вопросы, которые задавались мне, совсем не отвечал, даже и не слышал их. А когда меня порицали — на моих устах была такая презрительная улыбка, что я доводил их до бешенства!..

Вот, видите ли, такой я был в школе. Что же могло из меня выйти потом?.. А своего бегства на счастливые острова я в исполнение не приводил и, нахмуренный, возвращался из города домой, к отцу, с сознанием своей вины перед ним!.. Потом, задумчивый и молчаливый, я переносил его упреки и — иногда — бурные оскорблении.

Ах, с течением лет я печалил его все больше! Со временем я вступил в стадию мелких разрешений в области религии. Прежде всего, я усердно рассуждал об этом с отцом, потом погружался в одинокие, тяжкие размышления и, на-

конец, начал почти горячечно бредить. В спорах с отцом сначала дело шло о нападках на разные исповедания (с каким трудом переносил он малейшую атаку на свое собственное!), потом о ненависти к тем, которые, имея силу и влияние, уничтожают первые христианские понятия и основания, затем пошли нападки на самое христианство и, наконец, однажды я ошеломил отца откровенным признанием, что не верю ни в какого Бога.

До сих пор я жалею, что так напрасно опечалил его тогда. К несчастью, он был такой вспыльчивый! Если бы я заметил в нем малейший след сожаления о моем заблуждении, он наверняка тронул бы меня, я как-нибудь скрыл бы свое убеждение, может быть, даже отказался бы от него, потому что, в сущности, я был мягок и, во всяком случае, не такой упорный и бурный, как он. Люди так редко могут взаимно понимать друг друга! Если бы мы оба спокойно говорили, то, может быть, с изумлением увидели бы, что кажущаяся непроходимой пропасть между нами совсем не зияет такой бездонной глубиной, как нам казалось! Этот мой атеизм был тогда скорее протестом против слишком по-человечески олицетворенного изображения Бога.

Но место бесед заняли исключительно сцены раздражения, из которых одна, наиболее бурная, окончилась тем, что отец выгнал меня из родного дома — с проклятием!

Последние слова Ройко произнес почти шепотом, и мне показалось, что глаза его увлажнились.

— Несчастный! — невольно вырвалось у меня.

— Да, — ответил он, — очень несчастный, но еще более несчастным был он. Грусть моя велика. Я не верил в действительность проклятия, но чувствовал, что для него она должна была быть! Я знал — он чувствовал, что убил меня, знал, что душа его была изломана, а все существо — полуумершее. А в чем был мой грех? В том, что я не мог смотреть, как смотрел он и сказал ему то, что думал!

— И вы не помирились? — упросил я.

— Нет, — тихо ответил он. — Когда он выгнал меня, я ушел. Писал ему — он не отвечал. Через год ко мне дошла весть, что он умер. Он не оставил мне ни слова на прощанье.

— Боже мой! — с состраданьем простонал я.

Его губы слегка задрожали, но он сделал вид, что не слышал моего вздоха.

— Так как отец не обделил меня формально, — через минуту продолжал он, — никто не отнял у меня небольшого наследства после него; сразу же после его смерти я начал получать проценты, а через год с небольшим мне был выплачен и весь скромный капиталец. Но за это время, однако, я так много задолжался, что у меня скоро почти ничего не осталось.

Сначала, после смерти отца, у меня были некоторые угрызения совести, чувство мое возмущалось против того, чтобы принимать оставшееся после человека, который меня ненавидел. Но я был в большой нужде, да и деньги в большей своей части были от моей матери, которая ведь не прокляла меня и не лишила наследства; и я пересилил свою щепетильность и отвращение, как это обыкновенно происходит, когда мы взглянем в лицо грозящей нужде. Что я жил в нужде — вас не должно удивлять!

Из всего, что я рассказал, вы уже сами могли вывести, что я из тех, которые не знают, что им делать со своей жизнью. Сколько вытерпел я сразу же после изгнания из отцовского дома — мне было бы неприятно вспоминать, а вам слушать. Вы можете сами представить это себе, зная, что у меня не было никаких практических знаний, необходимых, чтобы заработать на жизнь.

Того, что называется призванием, у меня не было также. Было, пожалуй, одно: мне казалось, что у меня большие способности к сценическому искусству. И я думаю, что я не совсем ошибался, и что если бы я родился кем угодно, только не словаком, — я мог бы наверняка найти в этом ясную цель жизни... Теперь мне уже это безразлично, когда все-все, вся жизнь лежит за мной в развалинах, мусоре и обломках. Благодаря тому, что словацкого театра не существует, у меня исчезла из глаз эта определенная цель. Я опять стукнулся лбом о железную решетку вокруг притесненного народа, которому нельзя свободно развиваться, о твердую, как скала, стену своего, враждебного мне предназначения.

Из чужих языков я лучше всего знал немецкий, в нас всегда вколачивали неметчину больше, чем туранский диалект, которым нас мучают теперь. Но играть по-немецки мне не хотелось, я от природы ненавидел все немецкое. После долгой внутренней борьбы, я, однако, решился на это и поехал в Германию. Оказалось, что, хотя я свободно говорю по-немецки, но с невозможным для сцены акцентом.

«Жаль вас, — сказали мне, — очень жаль, но вы вызывали бы смех». А вызывать смех — это, пожалуй, самая печальная участь. Меня утешали, что, может быть, со временем я могу преодолеть это препятствие. Я ухватился за эту надежду. Поступил в какую-то бродячую труппу. И там было начало ужасного отрезвления от мечтаний.

После этого я попал, наконец, в постоянный, тайный театрник, но и там мне давали только самые незначительные роли. Развитие при таких условиях было невозможно. Я упорно боролся, но, в конце концов, меня совершенно измучили эти бесплодные усилия, мною овладело отвращение к закулисным отношениям, к этим достойным презрения людям, и я, отравленный горечью рассеянных грез, без веры уже в самого себя, мучимый и поражением, и тайным упреком отступничества, бросил свое единственное призвание и, проклиная Германию, где я не мог найти второй родины, убежал — это вполне соответственное слово — во Францию.

О пребывании здесь я не много расскажу вам. Судьба швыряла меня, как мяч, и я с отчаянием добивался только какого-нибудь куска хлеба. Минутами я цеплялся за берег и снова безнадежно тонул. Я переехал в Англию и долго жил там, или вернее, чуть не умирал от голода. Оттуда предопределение мое занесло меня на несколько лет в Мексику. Наконец, я снова вернулся сюда и достиг положения, в каком вы меня видите сейчас.

И весь этот период моей жизни беспрестанно наполняли одни утопии, за которыми я гнался, к которым рвался — увы! — напрасно! Но и теперь еще я возмущаюсь против них — и даже люблю их. Утопии! Почему утопии? Все мои стремления и планы были совершенно возможны и спо-

собны к жизни, и если они рушились, то только потому, что я не принимал в расчет людской злобы, зависти или неприязненного безразличия. Несомненно, моя личная слабость и отсутствие терпения были также сильно виноваты. Прежде всего, привела меня к гибели любовь к искусству, потом жажда славы, и, наконец, мечты о большом богатстве, которые я надеялся осуществить за океаном. Химеры и обольщены! Мусор распадающихся грез засыпал всю мою душу и сделал из моей жизни бесплодную пустыню... Но нет, нет, это сделала только моя вина, о, та моя вина, та моя вина...

Он сразу умолк, голова его тяжело упала на грудь, все тело его лихорадочно дрожало, глаза были смертельно печальны. Мы оба долго молчали. Я боялся заговорить, чтобы это не вышло похожим на то, будто я из любопытства хочу что-нибудь узнать о вине, о которой он помянул с такой искренней и глубоко патетической нотой в голосе. Наконец, Ройко медленно поднял голову, глаза его блуждали по деревьям, откуда к нам неслось веселое щебетанье птиц.

— Теперь вы знаете все, — довольно спокойно сказал он, словно буря в нем совершенно утихла. — Вы знаете все в общих чертах. На подробности же не хватило бы целой книги. Чего только не пережил я в разных чуждых странах! Чем я только был и чем не был! Даже чем-то вроде камердинера у одного аристократа. Это случилось в дороге и вследствие стремления к одной великой цели, которой, как и всех других, я не достиг. Вы видите, с какой откровенностью говорю я, если даже признаюсь вам в том, что очутился почти в ливрее, я, — приверженец свободы, жаждущий сокрушать пути свои и чужие! Что за скачок, — наверное подумаете вы, не зная подробностей, — с поднебесного пути артиста, пылающего жаждой бессмертной славы, в переднюю, почти в лакейство... И в этом, бесспорно, есть немного правды, но — черт возьми все! — какое мне теперь до этого дело! Я расстался со всеми призваниями, счастье всегда оборачивалось ко мне спиной.

Как истинный *raté* и *declassé*^{*}, как говорят здесь, я при-

* Неудачник, человек низшего разряда (*фр.*).

надлежу к самым печальным явлениям нынешней цивилизации, в которой всегда, с первых лет жизни, я инстинктивно чуял что-то враждебное мне и пагубное. Поверите ли вы, однако, что все это теперь не причиняет уже мне никакой боли? Я сказал вам, что в настоящее время я состою маленьким служащим в одном промышленном заведении. Я не умираю ни от голода, ни от холода и не хожу в лохмотьях. Тысячи людей, лучше меня, не пользуются благополучием. Я могу умереть спокойно и нормально. Чего же мне еще желать? Разве что скорейшего конца.

Недавно, перед самым поступлением в вашу больницу, я почувствовал себя больным. Хотя смерть для меня безразлична, я все же механически искал облегчения и мне дали в заведении, где я служу, адрес врача, по обязанности опекающего наш персонал. По пути к нему меня постигло скверное происшествие с этим омнибусом...

Он перестал говорить, побледнел и начал снова дрожать в лихорадке.

— Вам хуже, — воскликнул я, — вы говорили слишком долго, устали и раздражились! Я упрекаю себя, что не предупредил этого. Пойдемте, я поведу вас, вам нужно лечь в постель. Сон укрепит вас.

Он послушно встал и позволил повести себя.

Через несколько дней он настолько оправился, что собирался покинуть больницу. Мы теперь были уже настолько близкими знакомыми, что я с улыбкой признался ему, что видел его у св. Юлиана, что шел за ним и так комично заговорил с ним. Он не помнил этой встречи.

— А что вас так заинтересовало во мне? — удивился он.

— Уже одно то, что вы живете в доме, который казался мне таким таинственным и в который я так сильно хотел попасть.

— Это будет теперь очень легко, — с улыбкой сказал он.

— Я уверен, что вы не забудете меня в ту минуту, когда я выйду из двери больницы, и посетите меня не один раз. Хотя вы наверняка не найдете в этом доме ничего сверхобычайного. Я сам едва только поверхностно знаю своих ближайших соседей. Вероятно, и там есть интересные люди, как и во всяком другом доме. Да ведь, в конце концов, каждый человек интересен, настолько, понятно, насколько мы достигнем его глубины, его настоящей сущности. Но разве это вообще возможно, даже тогда, если бы он ничего не скрывал от нас? Ведь мы даже самих себя не видим почти никогда без покровов нашей фантазии, добровольных обманов или пристрастия к собственному «я». Но как бы там ни было, навестите меня поскорее, хотя бы ради моих соседей.

— Прежде всего, я приду ради вас, — откровенно сказал я, — и ради вашего здоровья, которое хоть и вернулось, но все же долго еще не будет стойким.

Мы пожали друг другу руки и расстались.

Спустя несколько дней после этого я отправился в путь к дому «под утопающей звездой», чтобы отыскать Ройко. Все время, что я его не видел, он присутствовал в моей душе непрерывно. Я чувствовал какую-то неопределенную грусть, которая, без сомнения, была следствием всего, что он рассказал мне. Он сам казался мне утопающей, полуутонувшей звездой, кораблем, разбитым о скалы жизни. Он оказывал на меня влияние такое сильное, что я даже сам удивлялся. И так властно на меня действовало не то, что я о нем знал, а то, что я о нем основательно или неосновательно предчувствовал.

Мне казалось, что в этом человеке были глуби, которые он скрывал и которые влекли меня. Наконец, во мне дрожала струна, очень родственная ему. Под банальной внешностью нашей трезвой общественной жизни я так сильно чувствовал какие-то бездонные стремления, таинственно скрытые от непосвященных глаз. Был ли Ройко из числа посвященных? Он произвел на меня такое впечатление, несмотря на то, что у него не вырвалось ни малейшего, отдаленнейшего напоминания об этом. Покажет ли он мне когда-нибудь себя таким, каков он в действительности, и подаст ли мне руку, чтобы повести меня к порогу великих, предвечных, с виду исчезнувших, но на самом деле вечно живущих мистерий?

С другой стороны, его пессимизм противоречил представлению, какое я таким образом создал о нем. Кто был так близок к правде, тот не мог бы быть полным пессимистом, как не может быть темным тот, кого проникнет свет. Пессимизм есть только угнетенность, тоскливая тревога, которая охватывает нас, когда мы познаем ничтожество близких нам вещей и не видим еще ясно того, что за ними, за преходящими явлениями и что никогда *не изменяется*. Это — переходная болезнь...

Размышляя таким образом, я дошел до набережной Августинов. Уже вечерело. В этих полусумерках Париж весь голубел и ослеплял величественностью своих avenues, полных движения и шума, своих прекрасных шпалер деревьев на берегах своего горизонта, так необыкновенно расцвеченного.

Антикварии на берегу уже складывали в сундуки свои старые книги. У одной из каменных балюстрад, откуда убирали книги, я увидел Ройко. Очевидно, он только возвращался домой со своей фабрики. Он стоял, опершись о балюстраду, но не смотрел на реку, по которой сновали суда и которая катилась красивым темно-зеленым глубоким потоком, с картиной гиганта-города, отражающимся в ее волнах.

Я кричал Ройко, приветствовал его издали, махал шляпой, но он не видел и не слышал меня. Его лицо было оде-

ревенело-неподвижным, он выглядел, как человек в глубоком обмороке, или, вернее, в смертной подавленности, но широко раскрытые глаза горели удивительным, почти горячечным огнем. Даже в болезни, даже во время кризиса я не видел его таким.

Я уже минуту стоял возле него, несколько раз заговаривал с ним, тряс за руку, но не получил ни ответа, ни взгляда. Наконец мне показалось, что он начинает понемногу пробуждаться от этого необыкновенного состояния тела и духа. Лицо оживилось и приняло более нормальное выражение, и только глаза еще говорили, что мысли его пребывали где-то далеко, один Бог знал — где. На мои вопросы, тоже несколько странные, потому что я как бы заразился его экстазом, он отвечал наудачу непонятными словами. Это был разговор словно при помощи иероглифов. Прошло еще много времени, пока мы начали говорить, как люди со здравым рассудком.

— Я как раз шел навестить вас, — сказал я, стараясь прочитать в его глазах, что происходило в нем.

— Так пойдемте, пойдемте! — ответил он тоном обычной любезности, стараясь быстро приспособиться к повседневному, равнодушному положению.

— Понятно, — прибавил я. — Если только вы не собираетесь куда-нибудь. В таком случае я только проводил бы вас, а к вам нагрянул бы как-нибудь после.

— Нет, нет, — уверял он, — я никуда не собирался, я именно хотел идти прямо домой. Как вдруг со мной, после долгого перерыва, заговорили они.

— Кто такие? — с изумлением спросил я.

Он немного помолчал.

— Вы наверное не поняли бы меня, — медленно сказал он потом. — Да вы наверное и не поймете. Вы сказали бы мне, по крайней мере, что я сумасшедший. Я уже знаю такие приговоры. Вы — ученый, стоите на вершинах современного знания, — хорошо я повторил эту истертую фразу? — а для этого знания, которое сделало такие неслыханные успехи, является сумасшествием все, чего оно не знает или не понимает.

Он сказал это без всякой горечи, и в его тоне не было ничего обидного.

— А что, — сказал я с улыбкой, — а что, если бы я признался, что, действительно, когда-то слепо верил в это знание, и что вдруг моя уверенность в его совершенство начала колебаться?

— Может быть, вы тоже несколько сумасшедший? — спросил он меня тоже с улыбкой, но такой загадочной, что мне сделалось как-то не по себе; не знаю почему, но я ощутил пробежавшую по телу легкую дрожь.

Меня или встревожило это его предположение, или же я увидел в его взгляде и улыбке что-то такое, что пробудило во мне мысль, что я говорю с человеком, стоящим над или под нормой так называемого здравого рассудка, определить который не легко. Некоторое время мы шли молча.

— Вас уже упрекнул кто-нибудь в сумасшествии? — несмело спросил я.

— Да, не один, уже давно. Еще тогда, когда я много и часто говорил. Теперь я обыкновенно молчу, и люди, по старой сентенции, скорее принимают меня за философа.

— Чем же вы вызвали этот суровый упрек?

— Чем? Гм... я скажу это вам. Иногда чужими словами легче определить свое душевное состояние, чем своими. Вы знаете великого, так абсолютно неизвестного Уильяма Блейка. Это был, очевидно, тоже безумец. Воображение для него было божественного происхождения, И, следовательно, чем-то первичным. Он говорил о себе, что способность воображения он культивирует и развивает до такой степени, что оно становится привидением, обычной видимостью, откровением. Так вот, нечто подобное делаю и я. У меня нет его гениальности, я не умею передать того, что вижу (это называется творчеством), и поэтому из моих видений не рождаются великие поэмы и миражные рисунки, как у Блейка. Они только расширяют мой кругозор, я несколько глубже смотрю на вселенную, чем мог бы в другом состоянии.

— Но ведь и это не каждому дано, — заметил я.

— В каждом человеке, — ответил он, — существуют основные зародыши еще других чувств, кроме пяти, наибо-

лее развитых и принимаемых за единственные. Но мы мало обращаем внимания на эти зародыши, особенно теперь, в материалистическом, варварском стремлении эпохи, которое увлекает нас, и которое, наконец, увлекало большинство людей. Как вы видите, я не хочу быть несправедливым относительно нашего времени и не принадлежу к тем, которые постоянно только вздыхают о прошлом. Я хотел бы только, чтобы арийский гений, особенно спиритуалистический, снова взял в нас верх. Есть признаки, что понемногу это совершается. Сокровища индийской мудрости, в своем идеальном альтруизме и в необъятной высоте абстрактных понятий, наверняка от основания обновят нашу культуру. Для индуев не осталось тайной ни одна из глубин духа, ни одна психическая тонкость не ускользнула от их внимания...

Но я уклонился. Дело в моем безумии. Так вот, я открыл в себе некое скрытое чувство — я беру такое название, так как иначе назвать этого не сумею, — и этой властью, или, если хотите, этим состоянием своего нетленного, но трансцендентального «я», я в состоянии входить в общение или соприкосновение с существами иными, чем, например, мы сами, или животные, или растения, понимать их, как бы видя их глазами и слыша ушами, — одним словом, совершенно сознательно чувствовать каких-то обитателей не нашей земли, а, скажем, иных небесных тел.

Он замолчал, как бы ожидая моего мнения об этом. Я был странно взволнован. Он имел надо мной какую-то магическую власть, — пока он говорил, я был совершенно убежден в справедливости его слов, сомнения проснулись во мне, только когда он умолк. Я не знал, что сказать ему.

— Вы занимаетесь астрономией? — спросил я уклончиво.

— Ничуть, — спокойно сказал он. — Вы не подумайте, что я читал Фламмариона и строю миры сообразно с его исследованиями или фантазиями. Я не знаю, сколько может быть правды в том, что он говорит о Венере или о Марсе. Но думаю, что ни телескоп, ни математика, ни химия не разрешат тайны звездных загадок.

Астрономией я не занимаюсь, мне не хватает для этого основы вспомогательных наук, но звезды люблю, как идолопоклонник. Представление звезд у идолопоклонников, несмотря на все незнание и заблуждение, было наверняка более близкое к правде, чем сухие и трезвые формулы наших астрономов. Знать, сколько тычинок имеет цветок, как он называется по-латыни, где растет и так далее — недостаточно еще для выяснения растительной сущности, в чем, собственно, и заключается дело. Не правда ли?

— Конечно, — ответил я, — но скажите мне, какого рода эти ваши отношения с обитателями других планет? Посредством ли воображения вы вдруг оказываетесь среди них, или они являются вам во сне, или, наконец, как лучи, входят в ваши глаза?

— Это нелегко будет объяснить вам, — сказал он, — это все равно, как если бы я должен был описать кому-нибудь цвет, которого он не видел. Я ни там, ни здесь. Это фатальность нашего телесного существования, что мы можем все представлять себе только в связи с местом и временем, только пространственно и определенно длительно. Тогда как существование прежде всего обусловливается сознанием, а не местом в пространстве и времени. И вот, в такие минуты я так интенсивно сознаю их существование и связь со мной, как никакой иной факт в пространстве, факт, обращающий на себя мое внимание посредством моего слуха, взгляда или прикосновения.

— А что, например, они говорят вам? — спросил я, не имея сил превозмочь ни любопытства, ни неверия.

— Вы таким же образом могли бы спросить, на каком языке они говорят. Что вам говорит дерево, скала, солнце? Что говорит вам животное? Каждое из них говорит без слов, и только вы уже объясняете себе по-человечески эти явления, и их речь, и хорошо знаете, что все, что вы о них думаете таким образом, все, что им приписываете, — есть скорее ваше, чем их. Так именно говорят мне и те. Я только сознаю их, как деревья и скалы, и все объясняю себе сообразно со своим настоящим образом существования.

Бывают иногда факты невыразимо проникновенные и

важные, а иногда мелкие и без значения, как, например, этот камень, лежащий на нашей дороге. Нам, по крайней мере, этот камень кажется в настоящую минуту чем-то совершен-но незначительным; это значит, что его отношение к нам не имеет большого значения, так как — увы! — мы навсегда для всего имеем только единственную меру — наше лич-ное восприятие вещей. Ввиду этого, как нам поможет вся наша мудрость, все знание, весь разум и все воображение, если бы мы захотели дойти до основ явления и опреде-лленно сказать или узнать, что такое, собственно, есть этот камень? Поэтому, в конечном отчаянии бессилия, мы удо-влетворяемся пустым названием.

— Пока довольно и того, — возразил я, — что мы по крайней мере знаем, что то, что *кажется*, еще не *есть*. Это похоже на обещание, что мы когда-то узнаем вещи, кото-рые теперь мы едва только предчувствуем, или которых да-же предчувствовать еще не можем. Но скажите мне, с со-знанием всех этих сверхъестественных фактов, не возник-ло ли в вас нечто вроде более уверенного и выразительно-го взрения на целостность бытия, не выяснились ли вам поня-тия вечности и Бога? Не стал ли для вас Бог, от которого вы некогда отреклись к такой страшной муке отца, более дос-тупным представлением, *фактом*, сознательно перечувст-вованным, как прежние факты? Я думаю, да?

— Ошибаетесь чрезвычайно, — ответил он. — Все факты вместе ни на йоту не объясняют больше, чем, например, еди-ничный факт существования животных или растений. Что ж из того, что расширяется, так сказать, инвентарь «*natu-rae naturatae*»?* Разве мы ближе к Богу, понимаем его яс-нее благодаря тому, что, например, при помощи микро-скопа знаем об инфузориях? Негр, живущий где-нибудь в пустынях Африки и не предчувствующий, что на свете су-ществует что-то такое, как наша цивилизация, несомнен-но, будет изумлен, ослеплен, когда вы вдруг привезете его

* *Natura naturata* — «произведенная», «сотворенная» природа (*лат.*) в философии Б. Спинозы, в отличие от *natura naturans* (Бога-Творца или «природы производящей»).

в Париж или в Лондон. Сначала он, быть может, даже будет испуган, будет думать, что очутился в стране всесильных чародеев-полубогов, или, если хотите, целых богов. Но с течением времени, он, однако, убедится, что здесь все так же, как и в его деревне, но только в иной форме, более сложной, совершенной и, если хотите, даже более возвышенной.

Что существуют и живут еще иные существа помимо человека, существа во многих отношениях более развитые, разнящиеся от нас так, как, например, мы от животных, — это может изумить человека, который внезапно убедится в этом факте, а раньше даже и не предчувствовал его; но до сущности вещей, которой — сознательно или бессознательно — он единственно хочет, до сущности действительного познания его ни на шаг не приблизит это. Вижу ли я один камень, падающий на землю, или сто — я не знаю все же, что такое тяжесть камня.

Таким образом, вы видите, что для меня понятие о Боге, благодаря сношению с земными мирами, ни на йоту не сделалось яснее и выразительнее. Есть Бог, или нет Его? А если есть — что Он? Старый, предвечный вопрос. Если бы мы хоть наверняка знали, что такое «быть»? Декартово «мыслю — значит, существую» — не дает в этом направлении достаточного решения. Пробовали ли вы когда-нибудь представить себе, вместо того, что есть, совершенное ничто: что никогда не было мира, духа, материи, света, тьмы, никогда ничего, ничего? Можете ли вы вообразить такое совершенное, предвечное, препервичное ничто?

Я не ответил. Я старался сознательно перечувствовать такое абсолютное ничто. Сначала мне казалось, что это во все не трудно, но потом я почувствовал себя как во тьме. У меня было, действительно, впечатление какого-то затмения в глазах и обессилия интеллекта мозга.

Ройко взглянул на меня и, казалось, угадал, что во мне происходило. Он, как и я, молчал, и наши мысли блуждали: бог знает где. В то же время мы механически шли дальше по улицам и, наконец, остановились против св. Юлиана, перед домом «под утопающей звездой».

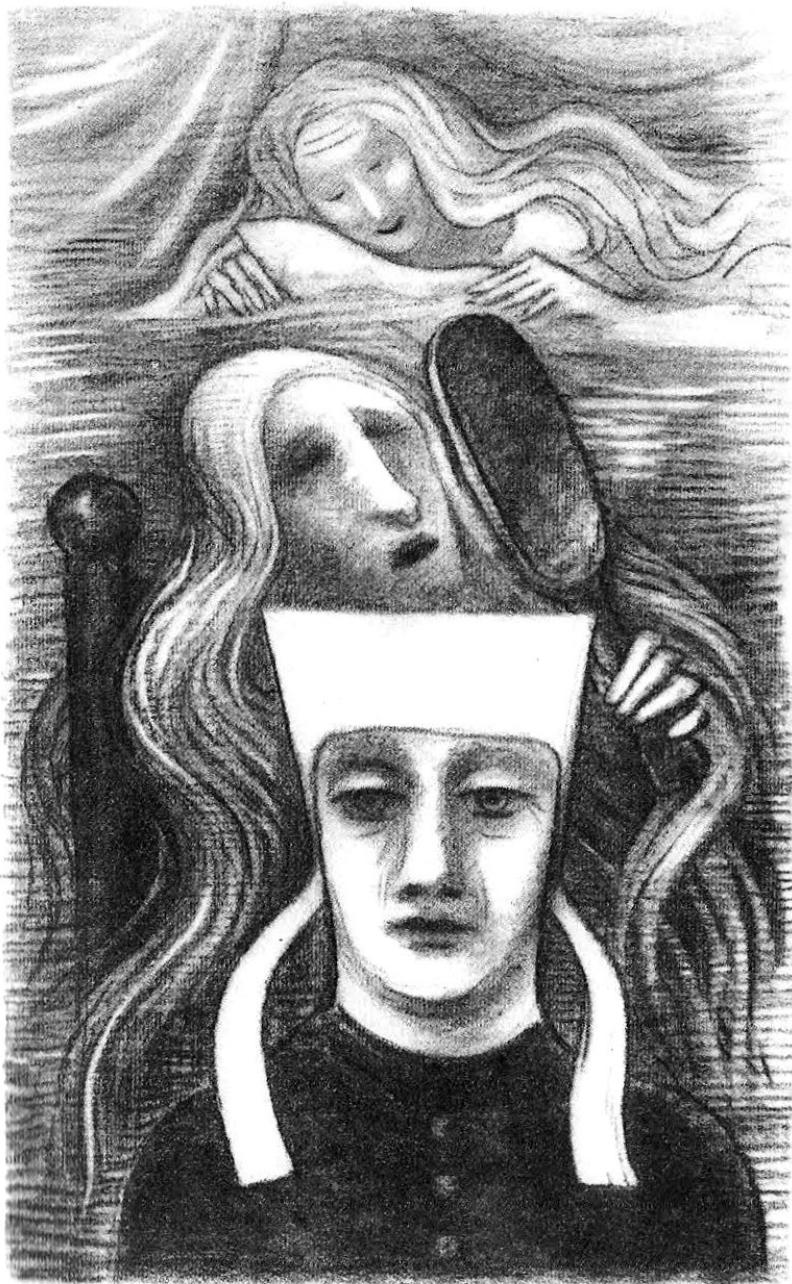
Ройко жил на третьем этаже; колеблющаяся, скрипучая лестница, широкая и темная, вывела нас в довольно обширный коридор; мы прошли в нем шагов десять, после чего свернули по трем ступеням направо, в меньший переход, оканчивающийся дверью обиталища самого Ройко. Но по пути мы прошли еще мимо двери другой квартиры, которая в это время была раскрыта настежь. Я невольно скользнул туда взглядом.

В комнате было почти темно, так как уже были глубокие сумерки, и к тому же окна были завешены какой-то тканью с желтыми и красными цветами, а на столе горела только тоненькая свечка. Комната производила впечатление большой чистоты и порядка. У одной из стен стояла старомодная кровать с выцветшими, лучисто опускающимися шелковыми занавесами, в которых были видны большие продольные щели и разрывы, — они рассыпались от старости. Занавесы были раздвинуты и в тени я заметил очертания какой-то фигуры, лежавшей на кровати.

Посередине комнаты стоял большой белый некрашеный стол, высокобленный так чисто, что он блестел впопыхах, а возле него, почти держась его края, как-то устало двигалась старушка высокого роста, в черной одежде, в белом чепце на голове; в большом высоком старомодном кресле сидела вдали другая старуха, бледная, болезненная, с лицом омерзительно обезображенном, но незаурядным. Она была седая, только густые брови были у нее совершенно черны, а глаза светились каким-то необыкновенным блеском. Она держала маленькое ручное зеркальце, удивительно испытующе взглядываясь в него. Улыбка самоудовлетворения блуждала по ее лицу, она кивала головой и шевелила губами, словно шепча что-то про себя.

Мы быстро прошли мимо двери этой комнаты, и я, не желая казаться нескромным, только быстрым взглядом мог охватить ее обитательниц, но меня сразу поразила их исключительная внешность.

— Это странно, — сказал я, — что не только от людей, но даже от вещей исходит иногда словно какой-то магнетический ток, который охватывает нас и овладевает нами



совершенно! Ваш дом просто очаровал меня, очаровал в том смысле, что я решительно чувствую себя под властью какого-то непонятного влияния.

И я невольно оглянулся на дверь, которую мы уже прошли.

— Вас так заинтересовали мои соседки? — спросил Ройко, визжа ключом в замке. — Мы проходили, — через минуту прибавил он, когда мы вошли в его жилище, — около «клетки трех идиоток». Здесь, в доме, я должен предупредить вас, каждый жилем имеет какое-нибудь прозвище.

— «Клетка трех идиоток»? — повторил я за ним. — Разве эти женщины действительно ненормальны? Но я видел только двух.

— Третья не встает с постели уже несколько лет. Она маркграфиня по происхождению, но такая несчастная и бедная, что душа за нее болит.

— И безумная?

— Нет, но совершенно уже впавшая в детство! Две другие, которые живут с ней (одна действительно идиотка), очень добры к ней и предупредительны. Все эти три старушки такие спокойные и тихие, что весь дом окружает их чем-то вроде почета. Как соседки, они просто образцовые.

— Мне кажется, — вспомнил я, — что вы бредили ими в горячке, в нашей больнице. Вы однажды, глядя неподвижно в пространство, сказали: «Это старшая из сестер, *Mater Lacrimarum!*» Очевидно, вы называете так одну из них?

— Нет, — сказал он. — Действительно ли я сказал «*Mater Lacrimarum!*»? В таком случае, я должен был говорить по-английски?

— Да.

— А! Значит, я только приводил де Куинси. Разве вы не знаете его чудесной вещи «Левана и три Матери Скорби»? Я почти всю ее знаю наизусть.

— Не знаю, — сказал я.

— В таком случае, прочтите когда-нибудь. Когда-то я переписал все это произведение, — тогда я не имел достаточно денег даже на такую дешевую книжку. Как сильно подействовал на меня де Куинси этой маленькой поэмой! В его

жизни, в молодые годы, действительно было очень много общего с переходами моей молодости. И поэтому «Левана и три Матери Скорби» пробудили во мне такое эхо, что мне иногда казалось, что это одно из моих видений, и что оно было у нас с де Куинси общим!

Он уставился глазами в пространство и молчал так долго, что мне показалось, что он совсем забыл о моем присутствии. Мы стояли в маленькой узкой передней, вероятно, всегда довольно темной, так как свет она получала только из коридора через маленько оконце над дверью. Темно-зеленый, местами вылинявший до желтизны занавес разделял эту переднюю на две части. Мы стояли в более светлой: за полуотодвинутой ширмой виднелся совершенно темный угол; там стояло старое деревянное кресло и валялись какие-то, очевидно, ненужные, выброшенные сюда вещи. Я присматривался к этим интересным вещам с жадным вниманием, и Ройко, опомнившись, открыл дверь, ведущую в комнату, и, любезно приглашая меня войти, зажег свечу.

Комната была бедная, но чистая. Вещей в ней было немного; стол, на нем листы исписанной бумаги и кипа разных газет, у стен несколько стульев, у окна подержанный несессер в стиле ампир, в одном углу узкая железная кровать, в другом буфет с чайным прибором, жестяным самоваром с маленькой лампой. Фотография статуи Кановы св. Франциска Ассизского, без рамы, прибитая прямо к стене, была единственным в комнате произведением искусства.

— Кто из них двоих так симпатичен вам, — с некоторым любопытством спросил я, — святой или художник?

— Оба, — ответил он. — Франциск Ассизский — один из величайших людей, а Канова — один из благороднейших художников, о чем достаточно свидетельствует хотя бы эта только статуя, единственное из его произведений, которое я знаю, хотя только по репродукции.

— Что за реализм у этих старых испанцев! — воскликнул я, рассматривая фотографию. — Разве это не выглядит как совершенно современное произведение?

Ройко улыбнулся.

— Я не согласен с вами, — сказал он. — Вы сосредоточиваете слишком различные вещи под одним понятием и названием. Говоря «реализм», вы имеете в виду «правду» в искусстве, как будто только наши современные реалисты ввели ее. Всмотритесь хорошенко в эту статью св. Франциска, и вам сразу же откроется разница между этими двумя эпохами. Нынешнее направление, по крайней мере, та школа, которая наиболее кидала девизами, думает только о правде в передаче какого-нибудь предмета. Те же великие мастера не знали ни девизов, ни доктрин, но у них была непосредственность взгляда, и заботились они прежде всего о том, достаточно ли то, что они хотели создать, вышеется над уровнем повседневности или, проще говоря, достоин ли предмет, чтобы его создали. Большинство обыкновенных произведений, которые теперь в моде, этого не стоят. То, что их авторы так подробно «наблюдают», не может, собственно, никого занимать. Посмотрите на этого св. Франциска — что за правда в исполнении, но прежде всего — что за *идеальность в замысле!* А на этом основывается все искусство.

— Я согласен с вами гораздо больше, чем вы думаете, — возразил я. — Я хорошо отличаю реалистов, каковы, например, Достоевский и Флобер, от той толпы, из которой сейчас даже ни одно имя не приходит мне на ум. Но, однако, мне кажется, что вы несправедливы относительно настоящего времени.

— Ничуть, — быстро ответил он. — Я только утверждаю, что это не великое время, оно исполняет только переходную задачу. Знание, литература, искусство, даже политика и наши социальные движения — все это находится только в стадии анализа. Народные борьбы, социальные споры, сомнения в религии, натурализм в искусстве, эмпиризм в науке — ведь это один анализ. Тогда как великое есть только в синтезе, который должен наступить после анализа. Правда, во всех перечисленных областях нет недостатка в духах, которые, хоть нигде не достигли вершин, но стоят высоко над своим временем. Но туда, где они — мир, вероятно, дойдет через столетие, — это роскошное дерево,

очевидно, возрастет когда-нибудь до небес, а теперь оно едва лишь произрастает...

Он замолчал.

— Вы для меня загадка, — сказал я ему. — В вас такие странные противоречия. То вы кажетесь мне безнадежным, крайним пессимистом, отчаивающимся во всем вокруг, то вдруг снова из ваших слов струятся лучи чистейшего света надежды и разгоняют все тяжелые тучи.

— Я подпадаю под впечатления, — просто ответил он. — Я уже сказал вам, что не могу *не мечтать*. Да, наконец, я и сам именно нынешний человек, имею все особенности переходного времени. Я не нынешний только в том отношении, что не умею восторгаться всеми событиями нашей эпохи, а главное, не могу вместе с другими петь в триумфальном хоре, прославляющем наше столетие, как венец всех предыдущих. Но все же я охотно соглашаюсь, что это время относится к наиболее интересным. Хотя бы даже только ввиду смертельной борьбы между наукой и религией. Юмористика этой серьезной борьбы заключается в том, что оба борца напирают на свою непогрешимость. В то же время у нынешних людей есть одна из двух болезней: они или не верят, и однако втайниках души тоскуют о какой-либо вере, или же хотя и верят, но не непреклонно, не победно над целым морем сомнений — и поэтому и одни и другие были бы рады привести эти две непогрешимости к какому-нибудь согласию.

— А вы думаете, что когда-нибудь удастся перекинуть мост между религией и знанием? — спросил я. — Мне это кажется невозможным.

— В египетских храмах эзотеричная религия была высшим знанием, которое победило анализ и пришло к величественному и в то же время простому синтезу. Поистине, древние были мудрецами; высшие правды остались у них тайным, скрытым сокровищем, доступным только посвященным.

— Не было ли это несправедливо?

— Это было предусмотрительно и мудро. Даже знание не имеет пользы от популяризации. Разве вы не видите, во

что превращается каждая великкая религия с течением времени, когда ее великие науки, чистые правды и возвышенные символы становятся злоупотребляемыми, лишенными высшего содержания и окарикатуренными до неузнаваемости!

— Ах, я лучше узнаю вас! — воскликнул я. — Вы верите в высшие идеалы, несмотря на то что они, как Вавилонская башня, крушились в развалины под вами в ту минуту, когда вы полагали, что уже находитесь у вершины!

— Разве я только что не сказал вам, что не могу откастаться от мечты? — сказал он с грустной усмешкой и подошел к окну.

Невольно я последовал его примеру. Мой взгляд случайно упал на оконное стекло, ярко освещенное блеском стоящей вблизи свечи. На стекле, очевидно, вырезанные алмазом, блестели слова на польском языке: «Один, один, один! Боже, как я покинут! Никто не знает, сколько плача в сердце моем».

— Ниже была подпись, польская фамилия, которую теперь уже не помню, и дата: 1832.

— Это изумительно! — воскликнул я. — Это стекло уже пятьдесят шесть лет здесь! То бедное сердце, в котором, по цитате Словацкого, было столько скрытого плача, уже наверняка давно перестало плакать и биться, тогда как тонкая стеклянная дощечка, подверженная бурям, ветрам и всяkim случайностям, пережила все эти скорби и похороненные надежды. Сколько забытых вздохов и криков, умоляющих молитв и проклятий слышали тогда, вероятно, эти почернелые, но крепкие еще стены вашего дома. Сколько, быть может, утопающих звезд упало и потонуло в его мрачном нутре. Ах, эта исчезаемость человеческой жизни!..

Ройко ничего не ответил, отошел в глубь комнаты и сел на кровать. Я видел, что в нем происходит что-то, к чему у меня не было ключа. Несомненно, с ним снова говорили они, потому что он, казалось, совершенно забыл о том, что я сижу возле него и с ним разговариваю. Только минутами мне казалось, что он замечает мое присутствие; он изредка взглядал на меня как бы с удивлением, словно желая

сказать: «Ты здесь? Кто ты и чего здесь ищешь?» Это было невыразимо неприятно. Я встал и пожал ему руку. Она была горяча, как в жару.

— До свидания, — сказал я, наклонив голову.

Ройко молча кивнул.

Я тихо вышел из комнаты, остановился на минуту за дверью, прислуживаясь, но Ройко даже не пошевелился. Я медленно пошел дальше.

Дверь «клетки идиоток» была теперь закрыта, и из-за нее не долетало ни малейшего шума. Весь дом был как заклятый, но когда я сошел на пол-этажа вниз — вдруг поднялся шум, дверь одной из комнат быстро распахнулась, и молодой светловолосый военный, франтовски причесанный, с нафиксатуаренными усами, тип знающего себе цену «красавчика», вылетел в коридор и стал кого-то ругать. Освещенный полосой света, бьющего от лампы в комнате, он приостановился на минуту в темном проходе. За ним показалась женщина с растрепанными волосами, некрасивая, бедно одетая, вся заплаканная.

— Леон, дорогой мой Леон! — в смертельной тревоге кричала она, схватив его рукав. — Ради Бога, постой! Куда ты идешь? Куда ты идешь? Ах, ты покидаешь меня!

Он грубо оттолкнул ее, так что она зашаталась.

— Черт тебя возьми, уродина! — крикнул он и сбежал с лестницы.

Я невольно остановился. Женщина даже не заметила меня. Бледная, сразу онемевшая, она заломила руки, потом прижалась лицом к стене и дико зарыдала. Она была трогательна в своем горе.

Я узнал ее. Эта была та самая женщина, которая когда-то перед домом заговорила со мной и приглашала к себе. Тогда она возбуждала отвращение, теперь — сочувствие. Я хотел пройти мимо нее тихо, незаметно, но она услыхала мои шаги и быстро оглянулась. Может быть, она надеялась, что возвращается убежавший. Увидев меня, она с досадой нахмурилась, отерла рукавом слезы, как это делают дети, вошла в комнату и с шумом захлопнула дверь.



Таковы были впечатления моего первого посещения дома «под утопающей звездой». Только когда я остался один в темноте в своей комнате, среди глубокой тишины, я подвел итог этим впечатлениям и сказал себе, что я не ошибся, ища чего-то необыкновенно интересного в этих почерневших, близившихся к руине стенах.

Как все это странно на меня действовало: эта «клетка идиотов», горе этой немолодой женщины, кричавшей в отчаянии вслед убегавшему юноше, — какие повествовательные зародыши гнездились во всем этом!

Но воспоминание о Ройко заслонило все эти менее важные для меня картины. Я снова видел его стоящим на побережье с экстазным выражением лица. Слышал его удивительные рассуждения о воспитании воображения до того, что оно станет способным смотреть туда, куда повседневные умы не могут проникнуть, — и от всего этого у меня начинала кружиться голова. Какую изумительную власть имел этот человек надо мной! Из его глаз излучалось что-то, как бы таинственный флюид, что-то такое, что меня просто покоряло.

«Безумец это?» — тихо спросил я себя.

И снова задрожал до глубины души, потому что чувствовал, что Ройко — это моя судьба, чувствовал, что какая-то высшая сила дала его мне, чтобы он повлек меня, куда хочет, и что, если он безумец, то и мое предназначение —

обезуметь под его влиянием. Я вскочил, ужаснувшись.

— Но ведь думать нечто подобное — уже есть начало безумия! — крикнул я и начал бегать по комнате, как зверь в клетке.

Я не спал всю ночь, метался на постели в жару.

Утром ко мне вернулись рассудительность и спокойствие.

«Это человек оригинальный до некоторой степени, — сказал я себе. — Это — душа глубоко страдающая, в сущности, очень религиозная, но без веры, которую она неустанно ищет и которую ошибочно надеется найти разумом. А это его “сознание заземных фактов”? Это, конечно, просто бред...»

Однако, я заколебался. Почему же это непременно бред? Пока он говорил мне об этом, под влиянием его присутствия толкование его казалось мне совершенно ясным, и я был почти убежден во всем, что он рассказывал. Едва только, однако, я подумал это, меня охватила глухая злость на самого себя. Разве таким образом и я не навевал на себя этого бреда? И мне снова показалось, что все во мне кружится, что все кругом вертится вместе со мною, словно почва уходила из-под ног.

— Этот человек доведет меня до безумия! — снова выкрикнул я в величайшем возмущении. — Кто же, однако, велит мне искать его дружбы? — прибавил я и решил, что уже никогда больше не пойду к нему и что о доме «под утопающей звездой» я даже и вспоминать не буду.

Bтечение нескольких дней я выдержал свое обещание, но потом во мне заговорила совесть. Ведь это не по-человечески, сторониться этого человека, такого несчастного и покинутого, который оказывал явную симпатию ко мне и нашел ее у меня к себе с первой минуты, когда мы познакомились. Я устыдился самого себя и вечером снова пошел к Ройко.

Он лежал одетый на кровати и произвел на меня впечатление очень больного человека. Увидев меня, он выразил удивление.

— Вы все-таки пришли? — сказал он. — Пересилили себя? Благодарю вас.

— Что привело вас к мысли, что я уже не приду? — удивился я.

Он упорно смотрел на меня; я был вынужден опустить глаза, вспомнив свое решение не ходить больше в дом «под утопающей звездой».

— Я знаю все, — тихо сказал он.

— Вы знаете все? Что именно? — спросил я.

— Все, что происходило в вас.

— Вы хотите сказать, что знаете мои сокровеннейшие мысли? — сказал я почти с раздражением.

— Да, я хотел сказать нечто подобное. Я знаю, что вы беспокоились о ясности своего суждения и что решили было не видаться со мною впредь.

— Из чего вы заключили все это? — воскликнул я, вынужденно усмехаясь, но с глубоким внутренним замешательством.

— Я видел и слышал вас.

— Где?

— В вашей комнате, вечером, в темноте.

— Вы были у меня?

— Я не выходил из этой комнаты. С последнего вашего посещения я все время был очень болен.

— И, однако, вы видели и слышали меня? Разве это возможно? Разве вы чародей? — громко рассмеялся я, но мой смех был еще вынужденнее, чем прежде. — А может быть, вы уже умерли, и я вижу только ваш призрак?

— Мы нередко во сне видим и слышим отсутствующих лиц. Видеть мы можем не только нервами глаз. Я видел и слышал вас внутренним зрением и слухом. Человеческие существа могут так действовать друг на друга, что кажется, будто они видят и слышат. И это не только кажется — это правда. Один человек действует на другого, который его видит, производит сильное влияние на его мозг, и внутреннее видение кажется тогда действительным явлением. Так было и в этом случае. Не я на вас, а вы на меня действовали, бессознательно, но так интенсивно, что, как я говорю, я знаю все, что происходит в вас.

— Значит, когда я сидел в своей комнате и размышлял, мой дух был одновременно в моем теле и здесь, у вас?

— Вы забываете, что дух, душа вообще не могут быть где-нибудь, так как пространство и место — понятия, о которых можно думать только в связи с телом, с материей. Дух, ничем не связанный, может, следовательно, быть в постоянном сношении с иным духом. Вы знаете, что Сведенборг сказал — что человек еще при телесной жизни имеет общение духа с иными духами, хотя его преходящее «я» ничего не знает об этом. Я прибавлю от себя, что ничего не знает в нормальном состоянии. Но я, чувствующий себя так близко к смерти, не в нормальном состоянии теперь, и, значит, живу уже как бы в ином мире — то есть, имею уже полуясное понятие о будущем состоянии своего «я».

Он замолчал. Я живо взял его за руку.

— Разве вы действительно так сильно больны, что думаете уже об ином мире? А как вы его себе представляете? — не без любопытства прибавил я.

— Приблизительно так, как об этом говорит где-то Кант, — спокойно ответил он. — Разлучение души с телом для него не что иное, как перемена видения или понимания при посредстве ума в непосредственное видение или понимание духом. Иной мир, следовательно, не есть иное место в мире, а только иное представление мира. Иное состояние нашего «я». Иное его отношение к целому.

Он утомленно замолк.

— Разве вы действительно так больны? — спросил я с

искренним беспокойством.

— Действительно. Но что же из этого?

— И вы не верите в мою симпатию к вам?

— Верю. Ведь я же знаю, что вы упрекаете себя в колебаниях относительно посещения меня.

— Ах, вы упрекаете меня...

— Нет, нет! — воскликнул он. — Я ни в чем не упрекаю ни вас, ни кого другого. Видите ли, я просто не был создан для счастья дружбы, не досталось мне это в удел. И в этом никто не был виновен. Банальную дружбу я всегда отталкивал сам, или же она не выдерживала первого испытания. Такая дружба хочет постоянных ласк, а я, если пожимал кому-нибудь руку, делал это так крепко, что даже было больно. Поэтому я умел находить друзей, но не мог долго удерживать их около себя.

— Разве это не упреки? — грустно спросил я.

— Верьте мне, что нет, — ответил он, и лицо его осветила улыбка, такая идеально добрая, что я, тронутый до глубины души, сжал его руку с такой силой, что она должна была заболеть. Но по нему нельзя было заметить это.

— Но теперь, — сказал я, — расскажите мне, что с вами, чтобы мы могли поискать помощи.

— Оставим это, — отрицательно ответил он. — Я слаб и у меня жар, вот и все. Это пройдет! Если вы мне поможете встать и пойти, я поведу вас к моим соседкам, в «клетку идиотов». Этой бедной маркграфине опять, кажется, хуже. Я обещал ее старой приятельнице, у которой она живет, что приведу доктора. Я именно вас имел в виду. Ей, вероятно, уж ничто не поможет, но вы, может быть, пойдете со мной к ним, чтобы, по крайней мере, немного порадовать ее? Они так сильно верят в медицину.

— Почему же нет? — воскликнул я. — С величайшей охотой! Да, наконец, что же и вылечивает, если не вера?

Он оперся на мою руку и, ведя меня, пошел довольно твердо, без особенного усилия. Он постучал в дверь «клетки идиотов». Одна из старух тотчас же отворила.

— Я пришел с доктором, госпожа Целестина, — сказал ей Ройко. — Это мой молодой друг. Как чувствует себя се-

годня m-lle де Сорель?

Госпожа Целестина подала мне руку с улыбкой и с каким-то полным простоты, тихим достоинством. Рука была жесткая, рабочая; госпожа Целестина происходила из народа, но в ее манере поражало врожденное благородство, а в глазах проглядывал какой-то подавляемый отчаяньем патос. Она была из числа людей, которые с первой встречи приобретают нашу симпатию.

— M-lle де Сорель, — ответила она Ройко, — очень больна. — И, ведя нас в комнату, тихо шепнула мне: — M-lle де Сорель немного странная. Она от старости впала в детство.

— Мне уже говорил об этом ваш сосед, — сказал я, и это ее несколько успокоило.

Она, очевидно, боялась, чтобы m-lle де Сорель не показалась мне смешной. Я понял ее, и эта деликатность очень тронула меня.

Она повела меня к кровати и раздвинула выцветшие шелковые занавесы с длинными разрывами, неоднократно спиравшими, но постоянно возобновляющимися, потому что истлевшая материя не могла уже выдержать швов.

Больная лежала с закрытыми глазами. Голова ее была интересна, но в чертах лица ничто не говорило о признаках былой красоты. Черты были только очень выразительны. Лицо ее напоминало маску из пожелтевшего воска. Белые густые разбросанные волосы делали на чистой подушке как бы вторую подушку из грубого шелка. Длинные руки, почти совершенно без тела, были также пожелтевые, почти прозрачные и — как говорится — истинно аристократической формы. Она держала их сложенными на груди, производя впечатление лежащего уже в гробу человека. Дыхание было слабо.

— Вы спите, m-lle Гонората? — тихо спросила госпожа Целестина. — M-lle де Сорель, доктор! — через минуту громче сказала она, встревоженная безответностью. — Боже мой, маркграфиня! — наконец крикнула она, испуганная уже не на шутку.

M-lle де Сорель разразилась смехом и открыла глаза. Я

был изумлен их ясностью, живостью, почти юношеством, точно так же как задорным, напоминающим беззаботность маленькой институтки смехом.

— Я испугала вас? — спросила она уже много слабее от смеха, но все еще приятным голосом. — Я поиграла в покойницу!

Госпожа Целестина погрозила ей пальцем, как ребенку.

— Доктор пришел, — сказала она, — нужно быть серьезной. Вы больны: что вы не понимаете? Больны!

— Да, больна, больна, и уж так давно, — ответила *m-lle de Сорель*.

Тучи покрыли ее лицо, и она вдруг сделалась такой старой, как в сказке, — до невероятности старой.

— Постойте, сколько же лет я уже болею? — и она начала тихо считать по пальцам. — Где уж там счастье!.. — через минуту прибавила она и опять как-то тупо, бессмысленно прилегла на своей подушке.

Она, очевидно, на минуту забыла, о чем говорила, руки ее опустились на одеяло из порыженного шелка, на котором был вышит почерневшим теперь серебром герб с короной.

— Она болела всю жизнь, — сказала госпожа Целестина, — и переносила большие страдания. Но этого было мало, она и в других отношениях шла совсем не по розам. Но никто не слыхал из ее уст ни одного слова жалобы. Она умеет болеть. А на это не каждый способен.

Я начал расспрашивать о симптомах ее болезни. В данное время не было ничего, кроме обычных следствий страсти.

— Я могу посоветовать только покой, — сказал я наконец, отвечая на беспокойные взгляды госпожи Целестины.

Но больная вдруг пришла в какую-то необъяснимую радость, смеялась чему-то, чего мы угадать не могли, захлебывалась от смеха и металась на постели. Госпожа Целестина старалась принять суровое выражение лица.

— Не шевелиться, прошу лежать спокойно! — закричала она со злостью, слишком заметно притворной, но ко-

торой больная поверila totchac же. Она успокоилась. — Спать! — приказала госпожа Целестина.

Бедная маркграфиня послушно закрыла глаза.

— Иной раз я не знаю, что делать, — шепотом оправдывалась госпожа Целестина, — и иногда должна напуститься на нее таким образом, иначе ничего не помогло бы. Пусть простит мне это Бог!

Я снова посмотрел на больную. На ее лице теперь опять появилась нежная улыбка. Длинные сухие прозрачные пальцы ее схватили угол одеяла и начали складывать его, как дети делают куклы из лоскутков. Потом она тихо прижала этот сверток к груди, начала качать его — и казалась совершенно счастливой.

— Теперь она скоро уснет, — с улыбкой сказала госпожа Целестина. — У нее есть уже младенец, и ей кажется, что она усыпляет его.

— Она всегда это делает? — с удивлением спросил я.

— Да, и это единственное ее утешение. Она не вышла замуж, не знала любви и, вероятно, и не думала даже о ней среди этих вечных болезней и горькой нужды. Но странно, что несмотря на то, что она почти уже не живет, что-то вроде материнской нежности, которой она не испытала в действительности, пережило в ней все другие чувства и, до некоторой степени, даже ее самое. Но вам не кажется смешным, что она прижимает и качает угол своего одеяла, правда?

Госпожа Целестина устремила на меня свой тихий, отчаявшийся взгляд. Я ничего не ответил, но глаза у меня увлажнились, и госпожа Целестина поняла этот немой ответ. Меня до глубины души растрогал этот след ушедших в небытие, бессознательных желаний материнства.

— Несчастная! — сказала госпожа Целестина, осторожно и заботливо задерживая шелковые распадающиеся занавесы у постели.

Образ бледного, увядшего, склоняющегося к гробу существа понемногу скрылся за ними, как и перед маркграфиней ушел в прошлое весь ее род, когда-то такой славный и богатый. Глубокую тишину комнаты вдруг нарушил

дикий, раздирающий крик:

— Моя молодость! Верните мне мою молодость! — кричал в смертельной тоске какой-то хриплый голос.

В нем звучало что-то до того отчаянное, до того безумно страдальческое, что холодная дрожь пронизала меня до костей. В ужасе я оглянулся и увидел, что кричала третья обитательница «клетки идиоток». Эта отвратительно безобразная женщина была в эту минуту необычайно интересна. Глаза ее горели, даже искрились, несмотря на град льющихся из них слез, а выражение лица ее было так трагично, что потрясло меня до глубины души. Зеркало, в которое она смотрелась беспрерывно, по целым дням, упало на кресло, с которого сама она быстро вскочила, судорожно заламывая руки над головой.

— Моя молодость! Отдайте мне мою молодость! — снова кричала она. — Укради ее у меня, взяли обманом! Мое лицо теперь — это одна большая морщина, сердце — одна большая рана! Я не жила, не жила, а жизнь моя пропала — прошла! Верните мне мою молодость! Мою молодость!..

Истерический плач заглушил последние слова, и, ломая пальцы, она снова упала в кресло. Мгновение мы стояли, как окаменелые, и только из-за шелкового занавеса тихий смех идиотки вторил раздирающим рыданиям сумасшедшей. Мороз пронизывал мое тело. Госпожа Целестина опомнилась первая, подбежала к плачущей и начала обнимать ее и успокаивать тихими словами.

— Тише, будь же благоразумна, опомнись, Антония, — шептала она. — Есть Некто, кто считает наши слезы и знает цену наших вздохов. Твоя молодость вернется к тебе там, где нет ни забот, ни печалей, где Господь обнимет и утешит всех нас, которые страдали и терпели, отдавшись воле Еgo!..

— Моя молодость! Моя молодость! — повторяла Антония все тише и тише.

С глухим плачем она, как переломленная, упала грудью на свои колени, скрещенными руками закрыла лицо, а костлявые пальцы погрузила в седые волосы на затылке. Она дрожала всем телом, внутренний и лишенный слез плач

потрясал и дергал все ее члены. И в этой немой муке было что-то еще более ужасное, чем тоска в ее крике. Сердце у меня сжалось. Госпожа Целестина стояла теперь на коленях у ее ног и поддерживала ее, тихо шепча время от времени:

— Антония, дорогая Антония!..

Через минуту она кивнула нам головой, как бы прося, чтобы мы ушли.

Мы тихо пошли к дверям.

— У меня в комнате есть успокоительные капли, — сказал Ройко. — Может быть, принести их вам?

— Нет, — сказала госпожа Целестина, — сейчас они не помогут; они пригодятся только позже, когда она сама несколько успокоится. Я скоро приду за ними к вам, и кстати посмотрю, не могу ли я быть вам в чем-нибудь полезной.

И она отвернулась от нас, занятая всецело Антонией.

Что за женщина эта госпожа Целестина! — сказал я Ройко, когда мы грелись в его комнате. — Истинная сестра милосердия!

— Это истинный тип женщины из народа, — ответил он. — И к счастью рода человеческого, таких есть больше, чем можно было бы предполагать. Она сама много выстрадала, переносила и бедность, и скорбь. Она вдова рыбака, который погиб где-то в Пикардии, откуда и она происходит.

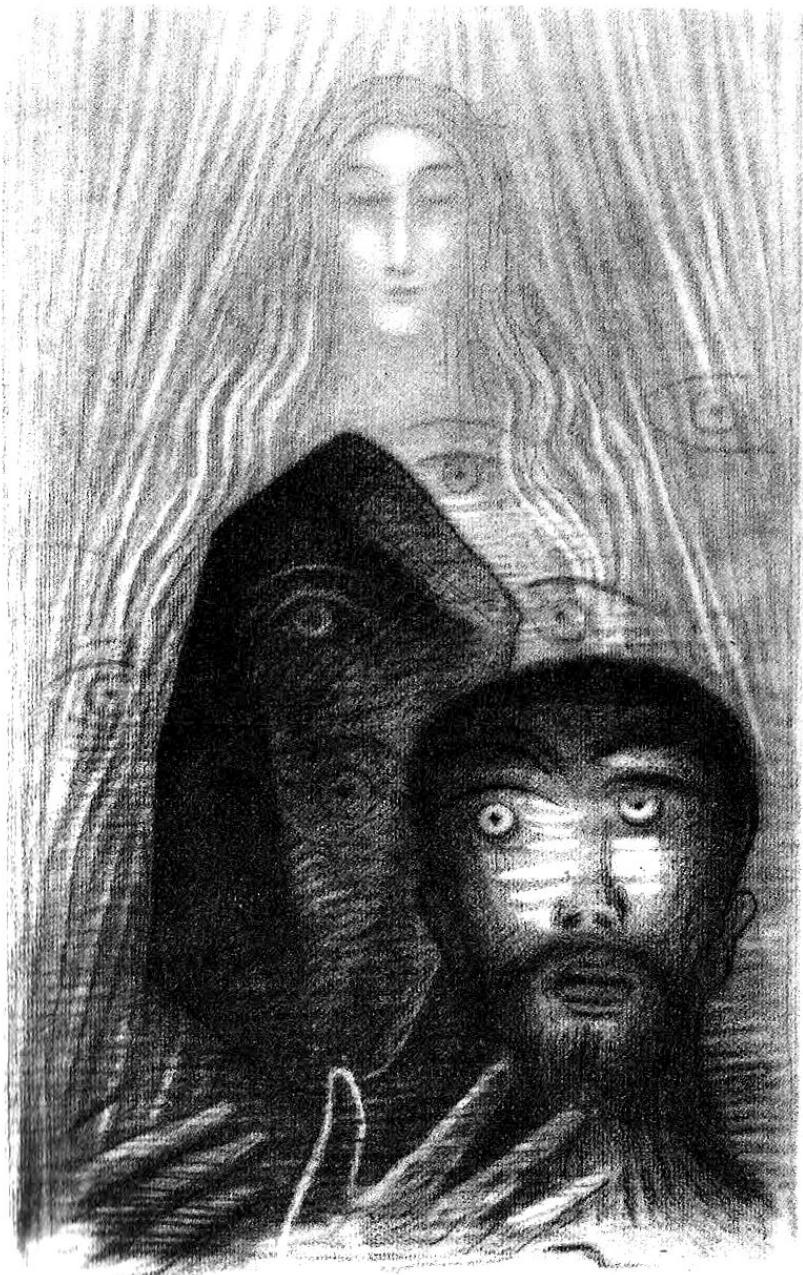
Вскоре госпожа Целестина постучалась в дверь; она пришла взять обещанные ей капли.

— Вы попали к нам в несчастливый день, — обратилась она ко мне. — Эта бедная Антония не всегда бывает такая шумная. Это случилось с ней после долгого периода времени. Она всю жизнь была такая несчастная. Родители выдали ее очень молодой за нелюбимого человека. Обыкновенная история: он был богат, и они думали, что таким образом обеспечат и ей и себе прочное счастье на всю жизнь. Мне кажется, о себе они беспокоились больше, чем о ней. Но ее жертва оказалась напрасной. Муж вскоре прогулял свое состояние, и ее родители умерли в нужде, не дождавшись ни малейшей помощи от сурового зятя, который начал потом мучить и ненавидеть Антонию, когда оспа и другие болезни сделали ее просто отвратительно безобразной. Всю свою жизнь она провела в темной лавочонке на грязной улице, лишенной света и воздуха, где-то вблизи церкви *Notre-Dame*. Муж не заботился ни о чем, она должна была содержать его и себя. К несчастью, Бог не дал ей ребенка. Если бы не это, ей было бы для кого жить, она имела бы утешение и надежду и, может быть, не лелеяла бы в глубине сердца безрассудную мысль, которая с течением времени стала какой-то *idée fixe*^{*}, подводной скалой, о которую ее бедный разум вскоре разбрзлся, как рыбацкая лодка.

— Что же это была за *idée fixe*? — с любопытством спросил я.

— Странно, — серьезно ответила госпожа Целестина, — странно, но Антония никогда не замечала своего безобразия.

* Навязчивая идея (*фр.*).



Когда она была совсем молоденькой девушкой, с ней был знаком один художник, в то время тоже очень молодой, который ухаживал за ней. Любил ли он ее когда-нибудь действительно — сказать трудно; но ей казалось, что да, особенно когда он нарисовал ее в том бело-розовом кисейном платье, в котором видел ее в первый раз, в соломенной флорентийской шляпке с розовыми перьями, в атласных туфельках, застегнутых по ажурным чулочкам накрест розовыми ленточками и с рабочей корзинкой в руках.

Картина эта, кажется, очень понравилась и была так хорошо продана, что художник на полученные за нее деньги уехал в какое-то путешествие. Долго он не возвращался и ничего не писал о себе; прежде, чем он вернулся, Антония вышла замуж. Весь тот наряд она сохранила как дорогую реликвию и память о минутах своего наибольшего счастья...

Потом она не раз слыхала об этом художнике, он становился известным и о нем везде говорили. В величайшей нужде, в крайнем унижении Антония утешала себя напрасной мечтой, что этот человек не забыл о ней, что он вспоминает ее с такой же нежностью и тоской, как она о нем. Она еще будет счастлива, счастлива, счастлива! Она повторяла это безустанно, и когда наконец муж ее умер, ей показалось, что минута этого счастья, так горячо желанного, так заслуженного долгими страданиями, наконец наступила. Бедная Антония! Она написала художнику письмо, извещая его о своем посещении. Несмотря на то, что она не получила никакого ответа, она все же через несколько дней отправилась в его мастерскую.

Она вынула из старой корзины свои дорогие реликвии, оделась в пожелтелое, когда-то белое кисейное платье, на голову надела флорентийскую шляпу — несмотря на всю заботливость о ней, измятую и запыленную, завязала накрест по ажурным чулочкам розовые ленточки туфелек и на руку взяла корзинку с работой, на которой с того времени она не прибавила ни стежка.

Так явилась она в его мастерскую, в этом юношеском, но постаревшем, обдерганным от времени костюме на изможденном, истомленном временем и нуждой теле, вся в мор-

щинах, отвратительно безобразная, смешная для всех, но не для Бога, который в то мгновение наверняка смотрел на ее отчаявшееся и безгранично доверчивое сердце и видел, каким оно было. Бог видел, что, измученная жизнью, она хваталась в полубезумии за берег, за который схватиться было невозможно. Бедная Антония!

Художник не был Богом и видел только ее смехотворность, сумасшествие! Ужасный взрыв хохота, от которого он не мог удержаться, разбудил ее от влекущих мечтаний о счастье! Точно теряя рассудок, она оглядывалась кругом, увидела себя в зеркале, увидела в первый раз, какой она была — и вдруг встала перед ней вся ее утраченная жизнь, упавшая в бездну, вся безвозвратно минувшая молодость... И это испортило что-то у нее в голове, лишило ее разума... Ее ошибка была в том, что она искала счастья, так сильно желала его, так безумно, всем существом своим стремилась к нему.

— А вы разве никогда не желали его? — спросил я.

— Все мечтают о нем, — ответила госпожа Целестина, — и я благодарна Богу, что он дал испытать мне хоть краткие минуты истинного счастья. Но после жизнь показала мне, что счастья нельзя приобрести погоней за ним. Положиться на Божью волю, принимать, любить свои страдания — вот единственное средство, которое облегчает наши скорби, лечит наши раны и ведет нас по истинному пути.

— Я вижу, — несколько неделикатно сказал я, — вы сами много страдали?

— Кто не страдал? — тихо ответила она, с прекрасной грустью в своих патетических глазах.

— Вы вдова, — мне сказал об этом раньше ваш сосед; вы еще смолоду потеряли мужа?

— Да, — сказала она, и в глазах заблестела какая-то мечтательность, что-то похожее на отблеск счастливых воспоминаний о времени солнечного утра жизни.

— Он, очевидно, погиб ужасной смертью? — назойливо высматривал я.

Я не мог удержаться, я должен был услышать это из ее уст, это была какая-то жестокость и вместе с тем любопыт-

ство, что-то вроде интереса, возбужденного драмой.

— Утонул? Мне говорил об этом мой друг. Ах, какая чудовищная стихия — море!..

— Это стихия мощная, — тихо сказала она, — и это было большое горе. Но не я одна узнала его; сколько вдов и сирот сделала там у нас вода! Но мы не можем отказаться от него, от этого моря, — мы, которые родились там, у его берегов. Оно поглощало наших мужей, сыновей, братьев, но мы тоскуем о нем, если нам приходится жить вдали от него. Так уж нас Бог создал. Мы принадлежим ей, этой великой воде, она погребает нас и живит, и мы привыкаем к ней всем сердцем.

— А как случилось это несчастье с вашим мужем? — спросил я.

Госпожа Целестина разговорилась и как-то доверчиво относилась ко мне; я чувствовал, что я симпатичен ей. Она села на стул под окном.

— Как это случилось? — медленно проговорила она. — Так, как обыкновенно случается. Мы спокойно и счастливо жили с мужем в Кайё. Вы, конечно, знаете Кайё? Кайё-сюр-Мер в Пикардии? Маленькое местечко на песках, но милое, маленькое. Мы имели хорошенъкий домик, кусочек земли под картофелем и садик. Петр так любил цветы. Так звали моего покойника. Он был рыбак. Однажды его нанял господин Бельфор. Лодка у него была хорошая, красивая, — и они поехали на продолжительное время. Я в это время вычистила все в доме и привела в порядок сад. Все у нас светилось как новое в тот вечер, когда я ждала возвращения мужа. Зажгла я лампу, приготовила ужин. Жду-жду, муж не приходит. Тогда я поужинала одна и села прясть.

На дворе был сильный ветер, но у меня не было никаких опасений, море совсем не казалось мне злым. Я, правда, видела в открытое окно женщин, спешивших в часовенку, где мы молимся, когда лодки с нашими близкими находятся во время бури в море, далеко от пристани. Вы, наверное, видали такие часовни у нас или в Бретани, где перед алтарем всегда висит маленькая лодочка? Итак, я видела женщин, проходивших в черных плащах возле наше-

го дома, но не чувствовала ни малейшего беспокойства. И пряла, все ожидая.

Потом, однако, и я взяла свой черный плащ — все его носят у нас — и также хотела помолиться с другими. Когда я дошла до конца улицы, там стояло кучкой несколько детей, и один из мальчиков говорил своему товарищу: «Знаешь, Бельфор погиб!» Услышав фамилию хозяина лодки, на которой уехал мой муж, я страшно испугалась, но подумала: мало ли чего дети не скажут. И пошла дальше, но уже не в часовню; свернула к домику замужней сестры.

Я подошла тихо и тихонько отворила дверь; у меня уже было как-то страшно на душе. Сестра, ее муж и сын сидели у стола и горько плакали. Они даже не заметили меня. Я не могла ступить шага, не спрашивала, о чем они плачут, только сказала сама себе, как-то внутренне, сама теперь не знаю — как: вот твоя рана! Была у меня эта рана в сердце, это была правда: я стала вдовой.

Так началось мое несчастье. На другой день пришли люди и принесли уже достоверную весть горя; они сочувственно жали мне руки и сказали: «Мы видели, как погибла лодка. Не ищи, бедная, и не жди». И я не искала уже и не ждала, но, однако, были минуты, когда, как во сне, я говорила себе: этого не может быть, он вернется. И я ухаживала за садом, каждый вечер зажигала лампу и ставила ее там, где сиживал он, читая газеты.

Через три месяца в Трепо нашли три трупа. Я пошла туда. По одеждам узнала, что мужа среди них нет. Его так и не нашли. Когда я уже потеряла надежду на возможность похоронить его в святой земле, я отслужила в церкви заупокойную литургию, а потом в доме, по нашему обычаю, поставили круцификс* в головах кровати, зажгли свечи, застали постель белым покровом с черными слезами, будто лежал там умерший, потом пришел священник, и соседки, и родные, и каждый помолился, как у гроба, а уходя, кропили святой водой воздух по направлению постели.

* Распятие.

Так похоронили мы его по-христиански, хотя вода не отдала его нам. Но и ее ведь создал Господь Бог, и, значит, и она Господня, как и земля, а разве это не утешение?

Лодка также осталась где-то под водой; через много лет заброшенная сеть рыбака зацепилась за ее остатки. Но меня уже не было тогда в Кайё; тогда, в довершение всего, мой ребенок, рожденный после смерти мужа, умер, я уехала — и мне кто-то написал об этом.

По ночам здесь, в Париже, у меня бывали об этом сны, и вот, недавно еще снилось мне, как эта лодка лежит там разбитая, на дне, между скал, под глубокой водой. И шум тех волн я часто слышала во сне, а когда пробуждалась, сердце так сильно билось в груди, как оно бьется только от тоски и скорби. Вы поверите? Мне иногда казалось, что молодые годы оглядываются на меня. Туда, наверное, я уже никогда не поеду. Что ж делать — мы идем по путям, которые нам предназначил Бог.

Госпожа Целестина спокойно поднялась. Что-то поправила у чепца на голове, потом взяла скляночку с каплями на столе, любезно поблагодарила, простилась с нами улыбкой и вышла из комнаты. Мы с Ройко посмотрели друг на друга — и с минуту молчали. Мы прочли волнение в глазах один у другого. Прежде, чем мы заговорили, госпожа Целестина вернулась.

— Извините меня, — сказала она Ройко, — я уже совсем никуда не гожусь. Хотела спросить, не нужно ли вам чего, а сама болтаю-болтаю и, уйдя в воспоминания моего горького прошлого, забываю о ваших нынешних неприятностях!

— Мне ничего не нужно, добрая вы моя, — сказал Ройко.

Но госпожа Целестина все же начала вертеться по комнате, приводила в порядок разбросанные вещи, стерла здесь и там тряпочкой пыль и только после вторичного уверения Ройко, что ему ничего не нужно, она ушла совсем.

Ройко сидел на кровати, на обеих щеках его выступали бледно-розовые пятна, глаза горячечно сверкали — и неожиданно он заговорил:

— Сердце человеческое, — с каким-то тихим возбуждением сказал он, — непонятно, глубоко и так богато прекрасными и возвышенными чувствами, что наша бедная речь не имеет достаточно слов для них. Но в стадии нашего нынешнего развития мы наполовину даже не можем знать этого человеческого сердца, потому что оно еще не приобрело всей своей возможной силы.

Человечество, каким мы его видим теперь, еще не истинное человечество, оно только тень, очертание, предчувствие того, чем оно будет когда-то! Нынешнее человечество существует только для того, чтобы принести себя в жертву, и оно дойдет до своего высшего идеала тогда, когда само себя распнет на каком-нибудь кресте и сойдет в могилу, чтобы потом встать из нее для истинного триумфа и славы!

Род человеческий, каков он сейчас, не заслуживает ничего, кроме страданий и печалей, и может быть, что здесь, на земле, где все, что ныне составляет человечество, предварительно должно было пройти состояние растительности и животности, — он этой будущей стадии человечества, или, лучше сказать, этого сверхчеловеческого идеала, не достигнет совсем!

Может быть, дух человеческий, который представляет душу нашей планеты, со временем перейдет на другую планету, чтобы там свершить свое восславление, а в это время бездушный труп матери-земли, вырванный из своей орбиты, исчезнет в черной мгле какого-нибудь погасшего солнца, как в предвозвещенной могиле!

Он устало замолк. Я слушал с удивлением. С чего он так разговорился вдруг о человечестве и человеческом сердце? Было ли это следствием впечатления, произведенного повестью этого простого сердца госпожи Целестины?

Я взял его за руку.

— И вы, — сказал я, — вы не верите в Бога, вы — со своей пламенной жаждой идеала?

— Оставьте меня в покое, уйдите, я хочу спать! — грубо ответил он. — Я смертельно устал, чего вы от меня хотите?..

Я встал.

— Вы сохнете от жажды веры! — шептал он, открывая глаза, которые сонно закрылись минуту назад. — За проходящим — непреходящее, — через минуту тихо прибавил он, — вот, приблизительно, мое понятие о том, что обыкновенно называют Богом. Ради более ясного представления о том, что никто не может себе предоставить, люди облекают это понятие в человеческий образ больших размеров, конечно, в отношении своих понятий и своей меры... Но зачем вы меня спрашиваете об этом? — гневно закричал он. — Что за любопытство? У вас есть вера? Хорошо! Ну и веруйте — и не ослабляйте ее углублением в понятия других людей. Опасно то, что вы говорите со мной, опасно для вас самого.

Я знал в Мексике человека, большого чудака, который пожелал увидать свои собственные похороны. Он был очень богат и денег не жалел; что здесь, в Париже, показалось бы невозможным, оказалось возможным там, за морем. При помощи денег и всяческих фортелей он добился того, чего хотел. Ему устроили очень торжественные похороны. Он лежал в стеклянном гробу, а священники, не знавшие об этом обмане, пели над ним погребальные песни. И вот, он во время обряда... умер.

Вы слишком исследуете, что происходит в других; берегитесь, чтобы с вами не случилось, как с тем человеком: вдумываясь чрезмерно, из простого любопытства, в эти чувства и мысли, вы можете в них завязнуть.

Он говорил в очевидной горячке. Даже не обращая внимания на пылающие глаза, горячие ладони рук и быстрое биение пульса, можно было заметить это по внезапным, бесцельным движениям и странному отсутствию связи в его речи. Но то, что говорил он, все же производило на меня чрезвычайное впечатление, и я выбежал от него в каком-то необъяснимом страхе и с прочным решением посещать его с этого времени менее часто. Однако мне не хотелось оставить его без призора в болезни, и я упросил своего друга, Анатоля, врача гораздо более опытного, чем был я сам, чтобы он занялся им на некоторое время.

Aнатоль ежедневно ходил к Ройко и приносил мне вести о нем в больницу и кофейню. Потом, когда мои мысли несколько успокоились, я начал сопутствовать ему в дом «под утопающей звездой», но, как доктора, немного помогали Ройко и я, и он. Он слабел и гиб на наших глазах от какой-то скрытой душевной, загадочной болезни, медленно умирал как будто без всякой телесной причины.

Анатоль смотрел на Ройко, как на довольно интересного человека, умственно полубольного, но не обнаруживал к нему ни сочувствия, какое он возбуждал во мне, ни интереса, который так безраздельно привязал меня к этому странному человеку. В присутствии Анатоля Ройко был очень молчалив; он чувствовал к нему очевидную антипатию, и, сдерживаясь до некоторой степени, все же не совсем скрывал это. И вскоре Анатоль совсем прекратил свои посещения. Я пытался тогда убедить Ройко, чтобы он пригласил другого врача, или же поступил в какую-нибудь больницу. Но он не хотел и слушать об этом.

— Я умру у себя дома, — коротко ответил он, — никакой доктор мне не поможет. Что может посоветовать другой — сумеете и вы. Так будьте в таком случае сами моим доктором, или я совсем откажусь от всякой медицинской помощи.

Он был упрям, и я уступил ему в этом так же, как и в других вещах. Поэтому я снова начал бывать, вначале частым, а потом и ежедневным гостем в доме «под утопающей звездой», и весь дом знал меня, и понемногу меня приняли как своего те из его обитателей, с которыми я чаще встречался.

Слuchaю было угодно, чтобы вскоре я ближе познакомился и с той бедной женщиной, которая так сильно плакала, когда военный грубиян дерзко оттолкнул ее от себя.

Я сидел у Ройко, более чем когда-либо мрачного, печального и молчаливого, как вдруг дверь быстро открылась и на пороге появилась госпожа Целестина. Она была бледна, как труп.

— Ради Бога, на помощь! — задыхающимся голосом кричала она. — Скорее, скорее, иначе может произойти убийство!

Она убежала так же быстро, как прибежала, а я поспешил за ней по лестнице, на площадку под «клеткой идиоток».

Там мы увидели светловолосого военного красавчика, которого я знал уже в лицо; он только что вылетел из комнаты той женщины, был взбешен, а руки, которые он вытирали носовым платком, были испачканы кровью.

— Беда! — крикнула госпожа Целестина и зашаталась.
— Беда! Он убил ее, наверняка убил эту бедную Виргинию! Я слышала ее отчаянный крик! А теперь эта мертвая тишина!..

Мы вбежали в комнату; в это время со всех сторон уже слышалось хлопанье дверей и поспешные шаги встревоженных жильцов: сбежался весь дом.

Женщина, которую госпожа Целестина назвала Виргинией, лежала на полу в изорванном платье, с волосами в беспорядке, со следами крови на лице, шее и груди. Она была без чувств. Я поднял ее и положил на канапе. Госпожа Целестина смачивала ей водою виски. Виргиния открыла глаза и увидела любопытные лица толпившихся в дверях жильцов дома.

— Прогоните их, госпожа Целестина, — были ее первые слова. — Госпожа Целестина, заприте дверь. Мне сделалось дурно... Я упала... Поранила себя до крови...

Госпожа Целестина повторяла эти слова, прося собравшихся разойтись и не беспокоить Виргинию. В это время Виргиния испытующе, пасмурно, мрачно всматривалась мне в глаза.

— Умру? — тихо спросила она.

— Не думаю, — ответил я. — Нет! Раны неглубоки.

— Жаль! — сказала она.

Это короткое слово скрывало в себе в эту минуту целую бездну сожаления.

— Он хотел убить вас? — спросила госпожа Целестина.

— Кто? Здесь никого не было. Я только упала, — пропломбировала в замешательстве Виргиния.

— Я слышала, как вы звали на помощь, — сказала госпожа Целестина, — а потом мы видели его, как он выбе-

жал из комнаты.

— Леон? — с величайшей тревогой спросила Виргиния.
— Вы не высадите его! — воскликнула она, быстро хватая



меня за руку. — Вы не высадите его! Даже если бы я умерла! Я не хочу! Умоляю вас! Кому какое дело до того, если бы даже он убил меня? Это мое дело, а... а... а я... хотела бы умереть...

Она закрыла глаза, и из-под посиневших век показались слезы.

Минуту мыостояли с госпожой Целестиной в молчании, растроганные и грустные. В комнате была глухая тишина. Вдруг начала петь птица, сладко, протяжно, мечтательно. Я посмотрел туда, откуда неслось пение: птица сидела в клетке у окна, заросшего снизу доверху сочной листвой какого-то красно-цветущего вьющегося растения.

Это было то самое окно, которое, прежде чем я попал в дом «под утопающей звездой», вызывало во мне романтическое видение — что за ним скрывается «воплощенная поэзия», воплощенная в молодой, прекрасной девушке, чистой лилии, каким-то чудом выросшей из развалин и остатков этого старинного парижского квартала, как в сказке из руин обваливающегося замка! А передо мной лежала не-

счастная женщина, немолодая, нищая, погибшая, залитая кровью и роняющая слезы.

Меня охватило неизмеримое сострадание. Но я быстро опомнился и перешел от размышлений к делу. С помощью госпожи Целестины я обмыл и перевязал раны Виргинии, которые не были ни глубоки, ни смертельны. Потом я попросил госпожу Целестину побывать с этой женщиной, пока я вернусь.

Я поехал в ближайшую аптеку, купил все, что нужно было для более обстоятельного лечения пациентки и скоро вернулся к ней. Она за это время уснула, и мы не хотели будить ее от этого сладкого забытья всех горестей. Я вернулся к Ройко, а госпожа Целестина ходила по всему дому, успокаивая встревоженных жильцов, объясняя им, что дело вовсе не в убийстве, а в слишком грубом обхождении и прося, чтобы из-за пустого любопытства не беспокоили больную, которая через день, а самое большее — через два дня совершенно поправится.

Идя от Ройко, я опять зашел к Виргинии. Она уже не спала, была бледна, но довольно спокойна. Ее заплаканные глаза смотрели на меня умоляюще. Мне показалось, что она хочет о чем-то поговорить со мною. Я сел у ее кровати, взял ее за руку и, вынув часы, начал считать ее пульс, давая ей таким образом достаточно времени приготовиться к тому, что она хотела сказать мне.

— Послушайте, — несмело начала она, — так вы видели Леона, когда он убегал из моей комнаты? Пообещайте мне, что вы никому ни слова не скажете! А то ведь сейчас будет следствие — и Леона может постичь какое-нибудь наказание.

— Обещаю тебе, что буду молчать, если ты этого хочешь; но этот негодяй заслуживает наказания. За что он тебя бил?

— Он хотел денег. Я отдала ему все что имела, но ему этого было мало. Он бил меня за то, что я мало зарабатываю. А разве я виновата, что я некрасива и старею?

Она замолчала и опустила глаза.

— А зачем ты даешь ему деньги? — с удивлением и лю-

бопытством спросил я.

— Люблю его, — просто ответила она.

Я взглянул на нее уже с нескрываемым изумлением. Она слегка покраснела.

— Я женщина продажная и достойная презрения, — сказала она, — но люблю его. Я старая и некрасивая, он — молодой и красивый, — я люблю его. Люди смеются надо мной. Чем же я виновата, что хоть и состарилаась, а люблю — и в первый раз в жизни! Да, в первый раз. Он меня не любит, — Бог мой, да разве возможно иначе? Он такой красивый, сколько девушек сходят по нему с ума! Но он хочет денег, которые я и даю ему; денег ему всегда не хватает. Я отдаю ему все-все, хоть если бы самой голодать пришлось. Я унижаюсь, продаюсь запоздавшим ночью пьяницам, которые меня тоже бьют; что мне все это, если, взяв эти деньги, он хоть иногда улыбнется мне!

— Но ведь это безумие! — воскликнул я. — Борись с этой слабостью, потому что она просто подла!

— Пусть будет так, — ответила она, — но это одно держит меня над водой! Если б хоть один раз в жизни я не любила вот так, совершенно бескорыстно, разве я смогла бы перенести сознание своей низости? То, что вы называете слабостью, подлостью — будет, должно быть, единственным моим оправданием перед Богом. Я всем продавалась, ему я отдаюсь. У всех я брала деньги, но он берет у меня.

Она сказала это так просто, с такой убежденностью, что мне стало стыдно за свой упрек. Мне одинаково мало была смешна эта престарелая женщина, с таким воодушевлением говорящая о своей любви, как и та, этажом выше, маркграфиня, в угасающем духе которой до сих пор блестал блуждающий огонек никогда в действительности не испытанных материнских чувств. Молча я пожал руку Виргинии. Она посмотрела на меня с благодарностью за то, что я понял ее. Я вынул немного денег и положил на стол возле ее кровати.

— Оставляю тебе здесь, — сказал я, — на необходимое. Завтра я опять осмотрю твои раны.

Она удержала меня за рукав. В глазах у нее были слезы.

— Спасибо вам, — шептала она, — за вашу доброту... Но послушайте, не сердитесь на меня... Если придет Леон с раскаянием, что мучил меня, что меня избил... если он опять попросит денег... знайте, я не смогу удержаться и отдам ему все... Так лучше возьмите их назад... эти ваши деньги... Вы, я знаю, не хотели бы, чтобы я отдала их ему.

— Они твои, — сказал я, — ты можешь поступить с ними, как тебе угодно. Я не буду спрашивать, что ты с ними сделала.

Она еще сильнее сжала мою руку, захлебываясь от плача.

— Пусть Бог вам воздаст за это, — наконец сказала она. — Я женщина погибшая и недостойная сочувствия, но не всегда я такой была. Ах, может быть я не была бы тем, что я теперь, если б не умер мой брат... Бедный мой Теодор! Ему еще не было и восемнадцати лет, когда он умер в семинарии, там, далеко, в Бретани, где мы оба родились... Ах, мой Теодор, — это был ангел чистоты! Он был моложе меня и такой простой, такой добрый! Он еще был у родителей, когда я ушла на службу в Париж. Он любил меня до страсти и так тосковал, так тосковал обо мне! Он не имел понятия, что такое грех, в который я вскоре впала.

Я бросила службу и повела разгульную жизнь. Не из необходимости, не из нужды отдалась я разврату, это было из легкомыслия. А потом — я хотела быть богатой. Мечтала вернуться в Бретань, купить себе домик с садом и иметь драгоценности, наряды, серебро! На службе столько не зарабатываешь! Ах, Бог наказал меня, вы видите, я умираю от нужды...

А представьте вы себе такое предостережение: однажды, во время пирушки в веселом обществе, какой-то коммивояжер вдруг рассказывает, что он был в Понт-Авене, в моем родном краю, и что там какой-то мальчик, которого он встретил в лесу, спрашивал его, не живет ли он в Париже, а когда он ответил, что да, мальчик радостно закричал: «Так в таком случае вы должны знать Виргинию, мою сестру, которая служит у господина Делатра на улице де Ренье! Как же вы можете не знать ее!» Поднялся громкий

смех над наивностью маленького бретонца, но я плакала, потому что поняла, что мальчик, который расспрашивает в лесу прохожих обо мне, был Теодор, так как это я у господина Делатра на улице де Ренье имела свою первую службу! Скажите, разве это не был перст Божий, что кто-то в этом развратном обществе невольно должен был мне напомнить моего ангела-брата?.. А тогда все так смеялись! Одна я плакала — но все же на добрый путь не вернулась!..

Она замолчала, а лицо ее подернулось какой-то смертельной грустью. Я утешал ее, как мог. Она несколько успокоилась. Я собрался уходить.

— Подайте мне, — попросила она, — вон ту фотографию, что стоит на окне. Это Леон. Год тому назад мы были с ним вместе на ежегодной ярмарке пряников на площади Народа. Там в одном из балаганов был фотограф — и он сделал мне этот портретик Леона так изумительно дешево! А потом Леон купил мне свинку из пряника с написанным на ней желтым сахаром моим именем. Мы съели ее вместе. Эта свинка должна была принести нам счастье.

Я подал ей выцветшую скверную фотографию этого негодяя. Она засмотрелась на нее при темном блеске свечи с такой жадностью, что даже не заметила, когда я пожелал ей спокойной ночи.

Я хотел идти домой, но вспомнил, что нужно попросить госпожу Целестину, этого духа милосердия и сострадания в мрачном доме «под утопающей звездой», чтобы ночью, время от времени, она заглядывала к Виргинии, не нужно ли ей чего-нибудь. Потом, когда я уладил это, мне вспомнилось, что я не простился с Ройко. И я пошел к нему. Он лежал в темноте на кровати. Зажегши маленькую лампу и взглянув на него, я ужаснулся выражению его лица. Это уже не было возбуждение или горячка, это было настоящее безумие.

— Он убил ее? Убил? — спрашивал он и смеялся страшным, диким, хриплым смехом.

— Разве вы ее ненавидите, что выказываете при этой мысли такую радость? — гневно ответил я, забывая, что он, очевидно, не владеет своим рассудком.

— Ах, какое мне дело до нее, — закричал он, — но он, он, как я завидую ему!..

— В чем вы завидуете ему?

— В чувстве совершенного преступления, этого первого мгновения трагика!

— Вы сходите с ума! — изумленно воскликнул я.

— Я хорошо знаю, что говорю! Вы никогда не совершили убийства или какого-нибудь другого тяжкого преступления, — одним словом, греха, за которым следуют людские проклятия и судорожные терзания того, что называется совестью!

— Слава Богу, нет! — воскликнул я.

— В таком случае, вы не можете понять этого чувства. В таком случае, вы не знаете, что значит — встать вдруг как бы на высоком пьедестале, подняться надо всем обыденным, мелочным окружающим! Видеть провал, бездонный, как море, который отделяет вас от всего мира! После преступления человек вдруг видит себя в совершенно ином свете, чем видел раньше, и не только он сам, но и мир кажется ему чем-то иным, отличающимся от того, каким он принимал его раньше! Наконец он знает сам себя! Наконец он — великий философ! Нерон хорошо знал, что великий злодей вместе с тем, до некоторой степени, и великий ар-

тист. По кровавой дороге он гнался за своей убегающей музой. И какая обалделая публика была вокруг него! Преступление имеет нечто общее с произведениями искусства, в художнике, как и в преступнике, есть что-то, что толкает его к тому, что он должен сделать, толкает слепо, — тайна, постичь которую никто не мог! Только великий художник может чувствовать так же интенсивно, как великий преступник, или наоборот, если хотите!..

— Вы говорите чудовищные вещи, или сами не знаете, что говорите! — крикнул я.

Мороз пробежал у меня по телу. Но что-то толкало меня, насилино толкало к этому странному человеку; я должен был, я чувствовал, что должен — проникнуть в его душу. Я взял его за руку и зашептал, сам не зная для чего:

— Вы говорите по собственному опыту!

Он громко засмеялся.

— Может быть, я где-нибудь читал то, что теперь декламирую вам! — воскликнул он. — Человек столько читает, что иногда уже не различает своих мыслей от тех, которые только, как эхо, отзываются в нем.

Он пробовал вырвать свою руку из моей, но я крепко держал ее. Вдруг мне пришло в голову, что тогда в больнице, когда он в первый раз рассказывал мне о своей жизни, у него невольно вырвался смертельно грустный шепот: «Вина, моя вина!» Какая же это была вина?

— Вы говорите по собственному опыту! — воскликнул я. — Признайтесь! Признайтесь!

Теперь я сам был как в горячке. Его безумие заразило и меня. Ройко был смертельно бледен, в широко раскрытых глазах загорелся внезапный ужас. Но, охваченный безумием, я не чувствовал к нему ни малейшего сострадания.

— Говори, говори, говори! — повелительно кричал я.

— Ну хорошо, — шепотом ответил он, как бы покоренный моей энергией. — Если б только не этот ужас, — добавил он еще тише, — который исходит от неживых вещей! В первый раз ужас упал на меня с большого горного излома, когда я убегал из замка, в котором она умерла. Скалу эту я видел сто раз, но никогда не обращал на нее вни-

мания. Но тогда, после ее смерти, она совершенно изменилась. Она вдруг сразу получила ту ужасную особенность, что взглядала, смотрела, хотя у нее не было глаз! Она не имела никаких глаз, даже обозначенных краской или высеченных в камне, в ней не было ничего, хоть немного похожего на глаза — бесформенный горный излом, простой камень, — и смотрел! Это был неописуемый ужас! Глаза, которых не было совсем, пронизывали холодом до костей и вздымали волосы на голове!..

При этих словах мне показалось, что все стены, все вещи в комнате были полны невидимых, неопределенных глаз, и странно — никогда до сих пор не испытываемый ужас схватил меня когтями. Губы мои дрожали, когда я шептал себе: «Этот человек доведет меня до сумасшествия». Я пустил его руку, отошел на шаг и начал вытираять холодный пот на лбу. Я вдруг понял, что такое ужас, исходящий от предметов.

Ройко с усилием встал с кровати и схватил меня за руку.

— Ты хотел знать, — почти торжественно сказал он, — так знай! Да, я совершил преступление. Изменой разрушил счастье двух людей. И не только счастье: я погубил также две человеческие жизни...

Я опять отвел его к кровати, потому что ноги под ним дрожали, и я боялся, что он упадет. Теперь сострадание пересилило во мне все другие чувства, и я начал успокаивать Ройко.

— Опомнитесь, — просил я его, — ни в чем мне не признавайтесь, не сегодня, по крайней мере! Какое же я имею право требовать от вас такого доверия? Забудьте обо всем, что я сказал необдуманно, я сам был в горячке и не знал, что говорю!

Но Ройко, как бы не слыша, все сильнее стискивал мне руку и с видимым усилием, но ясным, пронизывающим шепотом продолжал говорить:

— Я был хоть и молодым, но все же уже взрослым человеком, когда совершил свой подлый поступок, и поэтому у меня нет оправдания даже юношеской неразумностью! Слу-

шай, ты, мучитель мой, который вызвал меня на эту исповедь — как это случилось...

Здесь, в Париже, случай или судьба столкнула меня с молодым английским аристократом. Мы встретились как-то ночью на пустой улице, оба так задумавшиеся, что, не видя один другого, столкнулись. Глаза наши встретились, и мы остановились удивленные, рассматривая друг друга. Мы читали мысли друг друга, как в открытой книге.

Я не могу в кратких словах объяснить так, чтобы вы меня поняли, каким образом я узнал, что этот молодой человек из тех, существование которых я всегда предугадывал, наполовину, впрочем, веря в них. Как бы то ни было, я в мгновение ока убедился, что это адепт тайного знания! А он? Наверное, силой своего высшего знания и опыта, а следовательно, непонятным для меня способом, узнал, что перед ним один из тех, которые мечтают сделаться посвященными! Вам это, может быть, покажется сказкой или бредом, как и громадному большинству людей, но это искреннейшая правда.

Мы смотрели друг на друга, пока англичанин не решился первый заговорить. Он спокойно вынул из мешочка папиросу и вежливо попросил у меня огня. Так мы начали разговор. Потом мы зашли в ближайшую кофейню, будто мы оба случайно именно туда направлялись, и там, во время разговора, англичанин сказал мне, что он ищет надежного человека, который согласился бы поехать с ним в Англию, поселиться в его тихом, безлюдном замке и — коротко говоря, я получил впечатление, что он предлагает мне какое-то неясное положение в своем доме, что-то среднее между секретарем и камердинером... Темный румянец облил мне лицо. В то время я был совсем без дела, в крайней нужде, и сказал ему об этом в разговоре, но служить лакеем — это мне никогда не приходило в голову, и моим первым протестом было тогда чувство стыда и нежелания. Как мог он так понять меня? Он же смотрел на меня испытующе и сурово. У меня промелькнула мысль, что это какое-то испытание. Он, очевидно, хотел ближе узнать меня, убедиться, способен и достоин ли я сам когда-нибудь стать адептом.

Покорность и абнегация* принадлежали к числу первых требований от «учеников», я это знал, и без них было невозможно достичь даже первой степени. И хотя чувство во мне восставало и возмущалось, я принял <предложение>. Мы уехали в Англию.

Ройко умолк. Потом, вытирая покрытый потом лоб и дрожа всем телом, он с усилием прибавил:

— Там я увидел ее... его сестру... Эдиту...

Он закрыл глаза руками и глубоко вздохнул; после продолжительной паузы он продолжал рассказ:

— Я остался на несколько дней в Лондоне, лорд Ангус уехал в свой замок Ангус-Манор, в западной Англии; я последовал за ним только после исполнения в Лондоне его поручений. Был поздний вечер, когда я в экипаже (железной дороги там вблизи не было) подъезжал к замку.

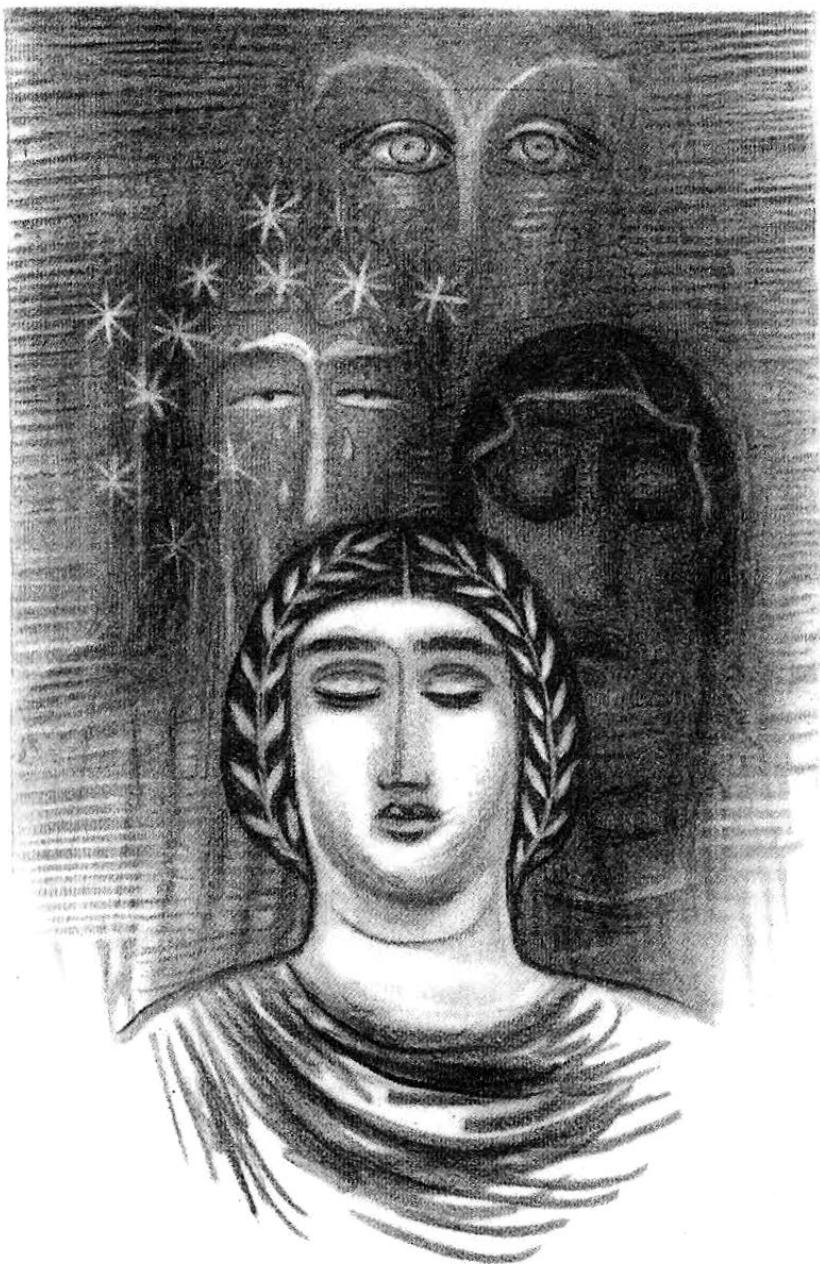
Ночь была волшебная, вся расцвеченная серебряными звездами; громадный парк темнел передо мной, группы гигантских деревьев стояли на лугах, над которыми поднимались белые пары, а вдали вздымался к небу старый, пасмурный, величественный замок. Изо всех его окон лились ослепительные потоки света. Дыханием сказки веяло от этой картины. Лорд Ангус, живший всегда почти в полном уединении, праздновал, кажется, по обязанности, какое-то семейное воспоминание и пригласил всю соседнюю аристократию. Узнал я об этом, когда подъехал к замку.

* Здесь: самоотречение, от *фр. abnégation*.

Я привез из Лондона для лорда Ангуса старые эфиопские рукописи и, согласно его желанию, сразу же понес их в его библиотеку, дорогу в которую показали мне служащие. Библиотека, как и весь замок, была освещена, и я с любопытством осматривался в большом зале, убранном с истинно артистическим вкусом. Там висело несколько старых, знаменитых, очевидно, семейных портретов кисти Рейнольдса, как мне показалось по стилю. Один из них при первом взгляде как громом поразил меня своей изумительной красотой. Это была дама в белом платье и драгоценностях из изумрудов, опалов и алмазов. Драгоценные украшения эти сверкали в ясно-каштановых волосах, на прекрасных руках, на чудной груди. Глаза у нее были зеленоватые, мечтательные, а брови темные, очерченные с бесподобным изяществом.

Я был сильно измучен дорогой и сел в большое удобное кресло, в котором почти утонул. Мои глаза все еще были устремлены на портрет, когда я услышал легкие шаги. Я взглянул в сторону, откуда они приближались, и осталенел от изумления. Дама, которой я восхищался на портрете, живой вошла в библиотеку. На ней было легкое платье, на один тон тяжелее, чем на портрете, те же изумруды в ясно-каштановых волосах, пересыпанных золотыми лучами, те же зеленоватые, мечтательные, волшебные глаза, а над ними те же темные, невыразимо красиво вырисованные природой брови! Но лицо ее не было таким радостно улыбающимся, как на картине. Какое-то возбуждение омрачало его, а во влажных глазах теплилась тяжкая грусть.

Она на минуту прижалась головой к выступу высокого камина, как бы желая охладить чело о холодный мрамор, но сразу же быстро оглянулась, услыхав за собою шаги. Молодой, красивый, высокий, изящный мужчина вошел в библиотеку. Она побежала ему навстречу. Его смелый взгляд поглощал трогательную в этой грусти красоту; он привлек ее к себе и прижал к сердцу. Его уста касались ее золотистых волос. Она не шевельнулась. В моем сердце отозвалось что-то, как бы безумное бешенство; я был готов задушить этого человека. Но сидел неподвижно в своем кресле, по-



груженный в глубокую тень, сидел там, как окаменелый, невидимый любовникам свидетель. Через минуту дама отклонила голову от груди мужчины и освободилась из его объятий.

— Эдита, — тихо сказал он, — ты звала меня сюда, что ты хочешь сказать мне?

— Что же, если не то, о чем ты знаешь давно, — ответила она, — что я люблю тебя. Говорю тебе сегодня об этом опять, потому что здесь прощаюсь с тобой. Прощание в присутствии стольких свидетелей там, в залах, а в особенности в присутствии моего брата, — выйдет таким холодным, обрядным! Для меня было бы слишком, слишком горько, если бы я не могла проститься с тобой здесь, без свидетелей, здесь, где я не принуждена скрывать слезы, удерживать вздохи и взвешивать каждое слово!

Теперь она сама бросилась ему на грудь и зарыдала. Он всячески старался успокоить ее. Минуту, без слов, они держали друг друга в объятиях. Потом, когда вблизи послышался какой-то шелест, они испуганно отстранились один от другого.

— Поезжай с Богом, — сказала она. — Напиши мне поскорее и поскорее возвращайся. Простимся здесь. Я уже не вернусь к обществу, запрусь у себя в комнате, сославшись на усталость и болезнь. После этого прощания я не хочу видеть тебя там, среди этих чужих... Я была бы не в силах сопротивляться с собой!..

Она поцеловала его еще раз и тихо сказала:

— Уходи...

И упала в кресло. Он целовал ее руки, стоял перед ней на коленях и коснулся лбом пола у ее ног. Потом быстро встал и ушел. Я хотел также ускользнуть, но не было возможности. Эдита оглянулась вокруг, как бы просыпаясь от сна. Наконец, она встала, но пошла к дверям, вблизи которых стояло мое кресло. В двух шагах от него она увидела меня. Она остановилась, как пораженная громом. Глаза ее гневно засверкали.

— Кто бы ты ни был, — сказала она, — разве не стыдно тебе, подлый шпион?..

С этой минуты я любил эту женщину до безумия. Ее гнев раздавил меня. Я медленно встал, не мог сразу заговорить, но слезы струями лились из моих глаз. Она с изумлением смотрела на меня, ее гнев утихал.

— Я не виноват, — наконец произнес я. — Я вовсе не шпион. Случай привел меня сюда. Когда вы вошли, я хотел уйти. Но прежде, чем я успел встать, вошел тот господин. Тогда уже было невозможно заявлять о своем присутствии. И из деликатности я остался в тени, надеясь, что уйду никем не замеченный, и — клянусь своей честью и всем, что у меня есть святого на свете, что никто никогда, ни вы, ни кто-либо другой, не узнал бы, что я видел то, что, наконец, вовсе не есть грех или позор и на что могли бы смотреть ангелы! Боже мой — да ведь вы — вы любите, неужели же вы стыдитесь этого?..

— Клянусь Богом, нет! — со страстным волнением ответила она и подала мне руку. — Вы сказали правду. Но знайте теперь, когда вы так странно сделались моим посредником, что обстоятельства вынуждают меня некоторое время скрывать свою любовь, особенно перед братом. Я обручена с другим, но люблю того, которого вы только что видели. Дела моего брата сильно пострадали бы, если бы я вдруг нарушила старое обещание. Но не думайте, однако, что я обманываю того, с кем родные обручили меня. Он знает, что я не люблю его, хотя не знает, что я люблю другого. Но все же кто вы, и как вы очутились здесь?

Теперь кровавый румянец облил мне лицо.

— Я приехал с вашим братом из Франции, — заикаясь, проговорил я. — Если вы, как я предполагаю, сестра лорда Ангуса. Итак, я... ах, что вы на это скажете, когда узнаете, что вашим посредником стал невольно... слуга вашего брата!..

Но, вопреки моему ожиданию, Эдиту это вовсе не испугало.

— Вы вовсе не слуга его, — совершенно спокойно ответила она. — Он говорил мне о вас, и я знаю, что вы человек необыкновенный. Я знаю, какие намерения имеет брат относительно вас, а так как я сама много работала с ним, то

буду часто с вами встречаться. Я благодарю судьбу, что вы, а не кто-либо другой узнал о моей тайне, если уж непременно кто-нибудь должен был сделаться ее участником. Брат мой тоже, наверное, сейчас придет сюда? Он знает, что вы уже приехали? Ах, слышите, вот он идет. Покажите рукопись, которую вы привезли из Лондона.

Она наклонилась над книгой.

— Брат, — закричала она, — что за драгоценная древняя эфиопская рукопись! «Taamina Mariam», — она повествует о чудесах девы Марии? А что за миниатюры! Есть у тебя ключ для разбора этих легенд по традициям магов?

Она говорила с горячечной торопливостью, руки ее дрожали, она оборачивалась к окну, из-за которого теперь доносился слабый грохот колес по мостовой двора. Эдита побледнела. «Уезжает!» — прошептала она. Я знал, о ком она думает.

— Извинись за меня перед гостями, — сказала она громко. — Я больна, чувствуя себя очень нехорошо, — и она быстро вышла из библиотеки...

С минуту Ройко тяжело дышал. Успокоившись немнogo, он продолжал рассказ:

— Не обо всем я буду так подробно рассказывать вам, как об этой первой встрече с нею. Я сказал уже вам, что безумно полюбил ее. Я бешено завидовал ее возлюбленному, но и зависть и любовь я скрыл в себе глубоко, и Эдита только предполагала, что я ей безгранично предан, до величайших жертв. Что касается этого, она не ошибалась, положим, я для нее готов был пожертвовать всем, кроме своей любви.

Так жил я несколько месяцев в замке лорда Ангуса. Если бы не эта несчастная страсть, лорд Ангус наверняка со временем довел бы меня до самых вершин эзотерического знания, на которых сам он так свободно дышал. Это был человек, каких действительно мало, истинный адепт белой магии, и я уверен, что теперь он уже дошел до вершин трансцендентных истин; он имел все способности к этому: и интуицию, и анализ, и синтез. Он довел меня до порога основных понятий. Дальше мне уже не удалось! Это было

всегда и во всем моей судьбой: до самого порога, но ни шаг дальше.

Лорд Ангус, не догадываясь, что рассеивало меня, что сосредоточивало на себе все мои мысли и внимание, и видя только, что ошибся во мне, понемногу перестал считать меня своим учеником, и таким образом я начал постепенно опускаться до того положения, которое, пробуждая во мне внутреннее возмущение и остаток гордости, глубоко оскорбляло меня. Я наверняка убежал бы из замка, если б любовь к Эдите не удерживала меня.

Эдита обходилась со мной, не считаясь со взглядами лорда Ангуса, просто, как сестра. В ней нельзя было отыскать каких-нибудь предрассудков. Это была женщина, полная такта, деликатности и доброты. Об образованности ее я не говорю: она знала все языки Древнего Востока, обладала изумительным знанием всех философских систем, всех христианских ересей, и ни одна из тонкостей буддизма не была чужда ей. При всей этой учености ей недоставало только синтеза, чтобы стать так же высоко, как ее брат.

Обо всем этом я, однако, упоминаю так только, мимоходом, и лишь затем, чтобы, к ее чести, сказать, что несмотря на все эти исследования и громадные знания, в ней не было и тени педантизма. Прекраснейшей ее особенностью была невыразимая женская нежность, а единственным недостатком то, что она отдавалась впечатлениям минуты и действовала под влиянием страсти, безмышлений, — и это погубило ее!..

Возлюбленный ее, лорд Дальтон, вопреки всяким ожиданиям вернулся в Англию через месяц после того прощания, невольным свидетелем которого сделался я, и теперь я больше узнал о нем от самой Эдиты. На ее взгляд, лорд Дальтон был человеком совершенным, но у него была фатальная страсть: игра. Поэтому-то ее родные, когда несколько лет тому назад он просил ее руки, решительно воспротивились этому браку. Из-за этой страсти у него иногда бывали бурные столкновения с Эдитой, которые всегда кончались с его стороны обещанием больше не играть, а с ее — угрозой отвернуться от него, если обещание еще раз не бу-

дет сдержано. Но мне Эдита призналась, что не оставит его, даже если он не излечится от своей слабости, и что, наоборот, всю его жизнь она хотела бы быть рядом с ним, как защита и убежище... «Я на каждом шагу буду бороться с его злым демоном, — сказала она мне однажды, — и не устану, пока не вырву его из губительных его когтей. А для этого я должна жить с ним, соединенная навсегда, неразрывно!»

Мне трудно описать, как сильно страдал я, видя ее глаза, пылавшие таким воодушевлением при напоминании о лорде Дальтоне, слыша ее мечтания о нем. Я ненавидел его смертельно. Такова была моя жизнь в Ангус-Маноре.

После некоторого времени, по разным делам лорд Ангус должен был сравнительно надолго переселиться в Лондон, куда, разумеется, сопровождала его сестра. Я, по своей обязанности, также поехал с ними. Там Эдита чаще встречалась с возлюбленным; в замок Ангус-Манор лорд Дальтон мог приезжать очень редко и то всегда под каким-нибудь предлогом, так как брат Эдиты не скрывал от него, что его посещения вовсе нежелательны. Но зато в Лондоне Эдита много бывала в обществе, и всюду встречалась со своим возлюбленным, которого, благодаря старинной фамилии и очаровательности его, охотно принимали везде.

Но, к несчастью бедной Эдиты, в этом шумном, веселом обществе лорд Дальтон находил слишком много возможностей отдаваться своей пагубной страсти, и не былотайной, что он посещает пользующиеся дурной славой игорные дома, где уже раньше пропала большая часть его наследственного состояния, а теперь снова вторая, еще большая.

Однажды вечером, во время большого собрания в доме лорда Ангуса, я был свидетелем горячей сцены между Эдитой и лордом Дальтоном. Лорд Дальтон весь вечер был сильно расстроен — и Эдита сделала ему знак, чтобы он пришел в оранжерею, тогда совершенно пустую. В салоне известная итальянская певица пела какую-то бравурную арию и можно было быть уверенным, что, пока она не кончит петь, никто из салона не выйдет. Я одиноко сидел в оранжерее, слушая пение издали, так как мое зависимое положение в доме лорда не позволяло мне присоединиться к приглашенным гостям. Когда неожиданно вошла Эдита, и сразу же за ней незаметно скользнул лорд Дальтон, я хотел уйти, но Эдита кивнула мне головой, чтобы я остался...

— Эдвард, — сказала она лорду Дальтону, — господин Ройко, которого представляю тебе, пользуется моим полным доверием, и я хочу, чтобы он был свидетелем нашего разговора. Если кто-нибудь случайно сюда войдет, лучше, если он найдет нас не вдвоем. Наше присутствие здесь не покажется таким подозрительным. Теперь слушай, что я хочу тебе сказать.

Лорд Дальтон хмуро взглянул на меня, но не сказал ни слова.

— Говори, прошу тебя, говори, — только ответил он.

— Эдвард, — сказала Эдита, — я услыхала твой разговор с капитаном Альдрихом, разнужданным человеком, одно присутствие которого для меня так невыносимо. Ты знаешь, что я принуждена терпеть его только потому, что он мой близкий родственник. Ты же находишь удовольствие в его обществе, потому что — ну, потому, что он такой же игрок, как и ты.

Лорд Дальтон с усилием воздержался, но взгляд его стал еще более мрачным.

— Какой же это разговор ты слыхала? — наконец спросил он.

— Я слышала, как ты обещал ему, что выйдешь через четверть часа. Я знаю, что это значит — вы идете в игорный дом. Так слушай: я запрещаю тебе уходить от нас. Да, запрещаю. Пусть, наконец, выяснятся наши отношения! Я люблю тебя, люблю всей душой, но мое терпение подходит к концу! Если ты пойдешь с капитаном — я видела тебя сегодня в последний раз! Слышишь? В последний раз! Я без колебания разорву все связывающие нас узлы. Я не перестану любить тебя, но на всю жизнь отдалюсь от тебя!..

Темный румянец облил лицо лорда Дальтона.

— Эдита, — вскрикнул он, — ты так, так говоришь со мной? Так знай же, что я не принимаю никаких приказаний. Ты не любишь меня, иначе тебе не пришло бы в голову унижать меня перед наемным слугой!..

Я глухо вскрикнул, удар был страшный. Эдита, всегда такая деликатная и полная такта, в раздражении поступила безрассудно, подвергнув меня такому тяжкому оскорблению, а своего возлюбленного неосторожностью возбудив против себя. В возбуждении я бросился бы на него, но Эдита умоляюще взглянула на меня. Певица в салоне кончила петь, раздались аплодисменты и вызовы на бис, и вслед за тем несколько человек вошли в оранжерею, отделенную от салона только коротким переходом, в котором висело несколько знаменитых картин, искусственно освещенных не-

видимыми лампами. Эдита изумительно владела собой; она свободно разговаривала со мной и лордом Дальтоном о редком растении, мало до этого времени известном в Европе, великолепный экземпляр которого цвел в оранжерее. Подходившие гости присоединились к разговору, и через некоторое время я незаметно отошел, как мне и следовало в моем скромном положении; я заметил, однако, что лорд Дальтон отошел еще прежде меня.

Приблизительно через час Эдита позвала меня в свою комнату. Она уже сняла драгоценности, ее красивые волосы были расчесаны, а лоб перевязан белым платком. Лицо ее было смертельно бледно; было видно, что она страдает и физически и духовно.

— Послушайте, — слабым и дрожащим голосом сказала она, — простите, что по моей вине вас оскорбили. Эдвард наверняка сам сожалеет об этом и извинится перед вами, как только немного успокоится. Вы прощаете меня?

Она подала мне свою чудную руку, которую я с волнением поцеловал.

— Я угнетена смертельно, — продолжала она. — Эдвард ушел с капитаном. Вы видите, он оскорбляет меня еще глубже, чем оскорбил вас. Разве это не похоже на то, что на мою угрозу он хотел сказать, что не обращает внимания, разорвут ли я связывающие нас звенья?

Она оттерла катившиеся из глаз слезы.

— Я поступила неосторожно, — говорила она, — но я исправлю свою ошибку. Хотите оказать мне громадную услугу?

— Какую угодно! — воскликнул я.

— Ну так... не обращайте внимания на то, что произошло между вами и лордом Дальтоном. Поднимитесь выше обыкновенной человеческой точки зрения. Вы знаете, что я думаю о вас, а то, о чем я хочу просить вас теперь, будет новым, большим, величайшим доказательством, как глубоко я уважаю и ценю вас.

Она вынула из ящика стола письмо и подала его мне.

— Идите, — сказала она, — идите и отдайте сами в руки Эдварда это мое письмо. Вы не только мой посол, вы мой

посредник, — письмо открыто, не запечатано, и я позволяю вам прочитать его. Нет, больше чем позволяю — я прошу вас прочитать его. Но не здесь, у меня, а только по пути, и не говорите мне ни слова, что вы думаете о его содержании. Когда вы отадите — возвращайтесь домой, но уже не приходите ко мне. Я сейчас лягу, мне так нехорошо. Если Эдвард даст какое-нибудь письмо от себя — пришлите мне его с моей горничной, которая будет ждать в коридоре, ведущем сюда. Если же, почему я не могу поверить, — Эдвард не даст вам никакого письма в ответ на мое — тогда дайте горничной вот эту георгину, которая весь вечер была у меня в волосах, — его подарок. Я буду знать, что это значит.

Она снова подала мне руку — и я вышел из комнаты угнетенный, взъерошенный, больной. Я любил ее до безумия — и должен был молчать! Я любил ее больше, чем свою душу, свою жизнь, чем все на свете, больше, чем верующий свое спасение — и был послом ее любви к другому, недостойному ее слез, ее вздохов, ее страдания! Я думал, что с ума сойду, — ах, да ведь я был уже больше чем наполовину сумасшедший! Это разве только может быть единственным оправданием того, что произошло дальше...

Я поспешил к нему, а по дороге, под фонарем, при мигающем свете газового пламени прочитал ее письмо.

«Друг мой, — писала она ему. — Я виновата перед тобой и прошу простить меня. Прими во внимание, что это случилось от излишней заботы о твоем спасении. Я не должна была приказывать и угрожать, нужно было просить тебя — и упросить. Я это делаю теперь. Извини меня и выслушай мое предложение. Я докажу тебе безграничную любовь мою, жертвуя для тебя всем-всем, и своим добрым именем, и своего брата. Я убегу с тобой, если хочешь, еще сегодняшней ночью. Вместо игры поспеши ко мне. Но нет, это ведь невозможно, я знаю, что тебе нужно будет сделать некоторые приготовления. Так напиши мне несколько слов, только: “Я не иду в игорный дом, делаю приготовления к нашему побегу”. Я вышла бы завтра утром, не привлекая ничьего внимания. Жди с экипажем на углу нашей улицы. Итак, напиши мне несколько слов, особенно: “Я не иду в

игорный дом”, — и завтра мы будем счастливы».

Дочитав эти слова, я лишился чувств и упал перед его домом. Люди думали, что я пьян и смеялись. Опомнился я все же быстро и стал размышлять. Что мне было делать? Нельзя было допустить, чтобы она привела в исполнение свое намерение, и не только потому, что мое сердце разрывалось (какое же дело до этого было ей и кому-либо), но потому, что таким образом она шла на гибель.

«Это письмо, — сказал я сам себе, — никогда не попадет в его руки!»

Но что же мне было делать? Какое право имел я вернуться и сказать ей, что я не согласен на то, что она намеревается сделать? Кто я такой? Слуга ее брата! Я рвал волосы на голове и царапал ногтями лицо. В это время подъехал экипаж, из него выскочил слуга и позвонил у ворот. Через минуту из дома вышел лорд Дальтон. Это, очевидно, был наемный экипаж, который доставил ему по его поручению слуга. Не было никакого сомнения, он ехал в игорный дом в наемном экипаже; своего у него уже не было. Ее письмо было у меня в руке, все измятое, потому что пальцы у меня судорожно сжимались. Лорд Дальтон узнал меня, и гнев сверкнул у него в глазах.

— Что вы здесь ищете? — загремел он на меня. — Вас послала на разведку ваша госпожа?

Я поднял руку с письмом, но стиснутые пальцы не повиновались мне и сжатая рука опять бессильно опустилась. Губы у меня дрожали и зубы стучали, когда я сказал ему:

— Не на разведку послала меня госпожа моя, но она не хочет, чтобы вы ехали в игорный дом...

Больше ничего сказать я не мог.

— И все? — спросил он и засмеялся, после чего, отодвинув меня в сторону, пошел к экипажу. Уже поставив ногу на подножку, он еще раз повернулся ко мне.

— Что я должен сказать ей? — спросил я.

— Что я не принимаю приказаний! — хмуро ответил он.

— Что я господин своей воли.

Экипаж загремел по мостовой и у меня как будто стало легче на сердце. Она была спасена! Дикая радость забушев-

вала у меня в груди. Я поспешил домой.

«Завтра я все объясню ей», — сказал я себе, увидав в коридоре горничную, и как во сне подал ей увядшую уже теперь белую георгину.

Но, когда я очутился в своей комнате, меня охватил безумный страх. Что же я сделал? Обманул ее! Я мял ее письмо в руке, которую до сих пор не мог разжать, так сильно держала судорога уже опухшие пальцы.

Я не знаю, сколько времени я ходил по комнате, пласал, бился головой о стены, катался по полу... Светало, когда я выбежал из дома. Кратчайшей дорогой я побежал к лорду Дальтону. Я хотел признаться ему во всем, исправить свой обман.

Я позвонил у его двери. Мне сразу же открыли; меня удивило, что до сих пор там не спали, и только тогда я сообразил, какой это был необычайный для посещений час. Я спросил лорда Дальтона. Его не было дома, но ждали его с минуты на минуту, и, как я заметил по выражению лица камердинера, который знал меня, ждали с большим беспокойством.

— Еgo всю ночь не было дома? — спросил я, чтобы только что-нибудь сказать; мне было мучительно молчать и думать о том, что я сделал. — Всю ночь не было дома? Попсольство мое такое важное, вы понимаете.

Он кивнул головой, что понимает.

— Он был дома ночью, — сказал он потом, — и перед рассветом опять уехал... Я признаюсь вам, дело идет о дуэли. Я боюсь за него...

Мы оба довольно долго молчали. Было уже совсем утро, на улицах начиналось движение. В своем возбуждении я потерял представление о времени. Ждал я час, может быть, три. Наконец возле дома остановился экипаж, на лестнице послышались шаги, и камердинер побежал навстречу лорду Дальтону. Он сильно обрадовался, видя, что его господин здоров и невредим, но лорд Дальтон был мрачен и бледен.

— Готовь все сейчас же к отъезду! — крикнул он. — Я бегу из Англии.

Увидев меня, он не выказал ни малейшего удивления,

только сильная боль отразилась на его лице.

— Ах, добрая судьба привела вас сюда, — сказал он мне.

— Я напишу письмо, отдадите его Эдите, я хотел сказать — сестре лорда Ангуса.

Он сел и быстро писал, в то время как в соседней комнате камердинер спешно делал какие-то приготовления.

— Вот письмо, — сказал он, окончив писать, — вот письмо, и отдайте его сразу.

Как во сне, шатаясь, я вышел из комнаты и пошел по улицам. Я даже забыл, что ничего не объяснил ему, ничего не исправил, ни в чем не признался. Я только смотрел на его письмо. Оно не было запечатано, небрежно заклеенный конверт почти сам открывался, — и я прочитал:

«Эдита, на коленях умоляю тебя, прости меня! Я негодяй, негодяй бесконечный! О, если б я послушался твоих просьб и приказаний! Я играл, играл — но этого мало! Во время игры поднялась ссора. В возбуждении я ударил капитана по лицу. Вследствие этого у нас была дуэль на расвете — и я застрелил его. На некоторое время я бегу во Францию. Заклинаю тебя Богом живым, дай мне хоть одним словом знать, что ты не проклинаешь меня, что я вправе надеяться, что со временем ты простишь меня! Клянусь тебе спасением своей души, что никогда уже я не буду играть! Падаю пред тобой на колени. Напиши мне хоть одно единственное слово в Париж под полной моей фамилией *poste restante!**»

Не знаю, как я добрался до своей комнаты, не знаю вообще, думал ли я, размышлял ли, боролся ли со своей совестью, знаю только, что я сложил вместе письма его и ее и спрятал их, что таким образом я совершил преступление, подтую измену, и что я последний негодяй!..

Ройко не мог говорить. Он плакал так, что почти захлебывался. Когда он несколько успокоился, я спросил его:

— И вы не могли хоть со временем исправить свой грех?

— Не мог и не хотел, — ответил он. — Через два дня после этого лорд Ангус послал меня в Шотландию, и в за-

* До востребования (*фр.*).

мок Ангус-Манор я вернулся только через месяц. Приехал я на другой день после свадьбы Эдиты, она вышла за того, с кем обручили ее родные. Я видел ее, но почти не узнал. В полуобмороке своей грусти она, может быть, была еще прекрасней, чем прежде, но она была другая. Мне казалось, что она уже умерла.

Я видел ее на большом балу, который дал в замке лорд Ангус на прощанье с ней. На ней снова были изумруды прабабушки, портрет которой висел в библиотеке, я видел ее такой же, как тогда, в первый вечер, когда я приехал в Ангус-Манор. Но она была теперь как будто без души, и мне показалось, что я вижу ее в гробу. И я был ее убийцей...

На другой день она уехала со своим мужем куда-то в Германию или в Италию, теперь уж я не помню. Я слег в постель и призывал смерть... В горячке я чувствовал один только смертельный страх: что она встретится где-нибудь с лордом Дальтоном, все объяснится, и она будет ненавидеть, проклинать и презирать меня! Но я напрасно боялся этого. С лордом Дальтоном Эдита уже не могла встретиться. Когда он прочитал в газетах в Париже о ее свадьбе — он застрелился.

Мороз пробежал у меня по телу, дыхание замерло в груди.

— И вы пережили это? — спросил я.

— Я пережил больше, — ответил он, дрожа всем телом.

Он держал меня обеими руками за руки и кричал почти на ухо:

— Эдита умерла через два года; она болела, слабела, медленно умирала от скорби! Я давно убежал из дома ее брата и, борясь с нуждой, шатался по Лондону. О ее болезни я случайно услыхал от бывшего камердинера лорда Дальтона. Пешком я дошел до замка Ангус-Манор, узнав, что она там умирает, и ради Бога просил, чтобы мне позволили поговорить с ней. Долго меня не хотели к ней допустить — она была уже на рубеже смерти, но в конце концов ей сказали о моем желании. Ангельски добрая до конца, она тотчас же исполнила мою просьбу. Я ползал на коленях у ее постели. Я простирая к ней руки, как в молитве.

— Простите! — стонал я. — Простите!
Она не понимала, чего я хочу.

— Я негодяй! — кричал я, когда меня хотели вывести из комнаты, как сумасшедшего. — Я негодяй! Я обманул вас! Я слишком любил вас — и поэтому убил вас и его! Смотрите, смотрите, вот два письма, которые по моей вине, по моему преступлению никогда не дошли ни до вас, ни до него!..

Я подал ей оба письма. Глаза ее расширились, когда она узнала почерк свой и его. Она прочитала его письмо, и румянец облил ее лицо. Рыдание вырвалось у нее из горла, она посмотрела на меня, словно желая сказать что-то сказать мне, а в глазах ее была смерть!..

— Простите! — было все, что я мог простонать.

Но Эдита уже была в агонии. Она не сказала больше ни слова и только прижала к груди его письмо... Ну, и вот так я убил и ее!..

— Несчастный! — крикнул я, опускаясь в кресло в невыразимом ужасе.

— Нет, нет! — как в безумии закричал Ройко. — Нет, я не был тогда несчастным! Я чувствовал то, о чем недавно говорил вам — наслаждение совершенного преступления. И только после, только после пришел этот страх и невыразимая мука! Только тогда, когда на меня смотрел горный излом! Только там, в старой комнате, куда заперли меня безумствующего, когда люди, найдя меня в каком-то эпилептическом припадке на дороге, возле той скалы, мицесердно понесли бедняка обратно под кров замка, в котором она умерла! Да, только через несколько дней, в той сводчатой комнате, где от потолка опускались густые занавесы, заслоняя окна, только тогда, когда меня стала преследовать мысль, что я должен раздвинуть их, эти занавесы, что должен кого-то в тени их искать, когда я наконец понял, кого я должен искать там, когда был уверен, что там стоит она, мертвая, посиневшая, со стеклянными глазами, обвшанная старинными драгоценностями из изумрудов и опалов, в которых лежала она на парадном ложе перед погребением, с этим грозным искривлением смерти на устах,

когда я знал, что она вот так стоит там, а за ней полная луна, белый диск, такой же бледный и мертвый, как лицо ее, а пустые, покрытые снегом поля расстираются за нею в синей, призрачной ночи, светлые и глубокие-глубокие, как пустота и ничтожество всего мира... — и вот тогда, тогда только я был совершенно несчастным!..



Ройко снова тяжело упал на постель, пена выступила на губах его, искривленных, дрожащих, вылетал чудовищный, нечеловеческий рев словно умирающего зверя. В больнице я привык ко многому, но этого зрелища не мог вынести, волосы поднялись на моей голове, я дрожал всем телом, и мне неясно вспомнилось, что когда-то в Чехии я слышал женщину из народа, говорившую: «Страхи обползают меня»... И меня теперь обползали страхи. Пересиливая себя, я подал больному необходимую помощь, но когда он опомнился настолько, что перестал стонать и кричать и неподвижно лежал на постели, я убежал из дома «под утопающей звездой», как бы преследуемый привидениями.

Я совладал с собой почти после часового беганья без цели по улицам — это был результат всех разнородных, сильных, потрясающих впечатлений этого дня, — и вернулся к Ройко, чтобы провести с ним ночь. Ведь я не мог оставить его без призора, а кроме госпожи Целестины, у кото-

рой было и так слишком много хлопот с Виргинией и своими сожительницами, в доме никого не было; заведовавшая же обыкновенно скромным хозяйством Ройко какая-то неразговорчивая, глуховатая женщина с первого этажа могла пригодиться едва лишь для того, чтобы вымести комнату, постлать постель и принести воды или угля.

Я остался у Ройко один, и, вопреки всем ожиданиям, большой провел эту ночь спокойно. Он лежал в каком-то летаргическом бессилии, а к утру погрузился в тяжелый сон. Сам я не мог ни на минуту смежить глаз. Меня обволзали все страхи, и величайшим из них было то, что я начинал как-то слишком ясно понимать «наслаждение, проистекающее от сознания совершенного преступления». Минутами я чувствовал, что хотел бы испытать его, что я завидую преступникам. Это было как внезапная молния над пропастями и бездонными водами, молния, раскрывающая их скрытые грозные, но бесподобно красивые, смертельно влекущие чудеса и чары. Я схватывался тогда за голову, словно боясь за остаток своего ума. А потом, когда я отгонял от себя эти мысли, мне казалось, что я вижу глаза лорда Ангуса, адепта таинственных знаний, смотрящие на меня и точно распознающие во мне одного из тех, которые жаждут «посвящения». Старые мечты и тоска о том, чтобы познакомиться с кем-нибудь, кто провел бы меня через таинственный порог, за которым лежит неведомый мир, начали бурно роиться в моей душе. Ведь значит, это не были пустые мечты, такие люди жили, с ними можно было встретиться на безлюдных улицах, можно было угадать их, войти с ними в союз!

Голова у меня кружилась, и когда я смотрел в окно на старую, вековую ночь, омологенную белыми звездами, у меня самого душа была полна звезд; во тьме перед моими глазами копошились длинные караваны идущих по безбрежным пространствам духов и сверхчеловеческих существ, ангелов и лярв, гениев и чудовищ; все они звали меня клыками, все словно приветствовали друг друга; в безмерной глубине затрепетала, казалось, громадная, мглистая, прозрачная и все же непроницаемая завеса, скрывающая высшие

истины, и мое сердце забилось бурной, безумной надеждой, что когда-нибудь я буду в силах приподнять хоть край ее края! Полстолетия я пережил и перемечтал в эту короткую ночь...

Утром я побежал домой, бросился на кровать, смертельно усталый, и погрузился в глубокое, тупое беспамятство...

Два дня я был болен и только к вечеру второго дня мог встать и пойти в дом «под утопающей звездой». Прежде всего я зашел к Виргинии. Она уже была почти здорова, хотя раны нужно было еще перевязать; но зато духом она сильно упала.

— Я дала ему знать через мальчика от сапожника внизу, — сказала она, — что прощаю его и прошу прийти. Потом я послала ему большую часть тех денег, которые вы мне дали. Деньги он принял и обещал забежать ко мне, — но не пришел. Арсенек, мальчик сапожника, видел его сегодня после полудня в сквере, за церковью Notre-Dame; он сидел под деревом с молодой женщиной. Ах, какая я несчастная!

Она замолчала и задумалась. Сидела она с опущенными глазами, не слышала, что я говорю ей, о чем спрашиваю, отвечала коротко, раздражительно, невпопад. Я оставил ее в этом грустном изнеможении, которого она не скрывала, и зашел в «клетку идиотов». Там был полный покой. Антония заплела волосы и с улыбкой удовлетворения смотрелась в свое зеркало; бледная маркиграфиня качала край своего одеяла, а госпожа Целестина готовила какую-то еду. Ее милая, полная примиренности улыбка произвела на меня прямо благодетельное впечатление; ее спокойствие и бодрость при работе подействовали на меня живительно. Эта женщина имела силу и отвагу для борьбы, которая называется жизнью. С минуту мы тихо поговорили о «наших пациентах», — и я пошел к Ройко.

И там на этот раз было все хорошо, по крайней мере, с виду. Правда, он был чрезмерно слаб, но ужасное возбуждение прошло; он только жаловался, что все члены его точно избиты и изломаны. Он сказал мне, что ему кажется на-

стоящим наслаждением лежать без движения, как сваленное дерево.

Ни один из нас не сделал ни малейшего напоминания о вчерашней ужасной сцене, о его страшных воспоминаниях и ужасающей исповеди. Я тоже был как «побитый» и не имел желания разговаривать. Вынув из кармана купленную по дороге газету, я начал что-то читать вслух из нее. Но ничто не занимало ни меня, ни Ройко — и я бросил газету на пол.

— Если вы хотите что-нибудь прочитать мне, — сказал Ройко, — так откройте нижний ящик стола. Там есть зеленая папка, а в ней немного исписанных листов бумаги. Среди них вы найдете копию небольшого произведения де Куинси: «Левана и три Матери Скорби». Я знаю его почти наизусть, но охотно послушал бы, если бы прочли его мне.

В указанном месте я нашел рукопись и начал читать вслух. Сначала только потому, что Ройко просил об этом... но вскоре, однако, содержание ее так заинтересовало меня, что я забыл обо всем, кроме того, что читал. Я привожу здесь вольный перевод, который я сделал для себя как-то позже, потому что это произведение никогда уже не представляло глубоко занимать меня. Оно очаровало меня в истинном значении этого слова, сразу, при первом же чтении.

Левана и Матери Скорби

Часто в Оксфорде видел я во сне Левану.

Я узнавал ее по ее римским символам.

Кто же такая Левана?

Читатель, не имеющий достаточно времени для приобретения большой учености, наверно, не станет сердиться, если я расскажу ему об этом.

Левана была римской богиней, которая совершила при новорожденном ребенке первую службу облагораживающей кротости, являя в своих поступках величие, свойственное всюду человеку, и доброту невидимых сил, которые и в

языческий мир нисходят иногда, чтобы быть ему опорой.

В момент рождения, едва лишь младенец в первый раз вдыхал воздух нашей печальной планеты, его клали на землю.

Но сейчас же вслед за этим, чтобы такое высшее творение не ползало во прахе дольше мгновения, отец, или какой-нибудь близкий родственник вместо него, поднимал ребенка вверх, велел ему свысока осмотреться кругом, как царю всего этого мира, обращал лицо его к звездам, говоря в сердце своем, быть может: «Смотрите, вот нечто, большее вас!»

Этот символический обряд представлял собою обязанности Леваны.

И это таинственная владычица, которая никогда, ни пред кем не открывала лица своего (кроме меня во сне) и всегда действовала через заместителей, получила свое имя от латинского слова (которое до сих пор остается итальянским словом) *levare* — подниматься кверху.

Вот объяснение имени Леваны.

Здесь и начало тому, что многие принимали Левану за покровительственную силу, наблюдающую за воспитанием детей.

Она, которая при рождении младенца не могла вынести даже примерного изобразительного унижения существа, отданного под ее высокое покровительство, разве могла бы вытерпеть действительное унижение ребенка, происходящее от неразвития его врожденных способностей!

Поэтому она наблюдает за воспитанием человека.

Но под воспитанием Леваны нужно понимать не ту жалкую машину, которая движется при помощи букварей и грамматик, а могучую систему соединенных сил, сокрытую в глубоком лоне человеческой жизни, которая при посредстве страсти, борьбы, искушения, силы противодействия неустанно действует на детей, не останавливаясь ни днем, ни ночью, как ни на одно мгновение не останавливается сам могучий круг тех дней и ночей, минуты которых, как неутомимые, мелькающие в пролете спицы, вечно кружатся.

И если Левана с такими помощницами совершаet свое дело, как глубоко должна уважать она действие скорби!

Но ты, читатель, вероятно, думаешь, что дети вовсе не подвергаются такой скорби, как моя?

Я не хочу утверждать, что они везде способны к ней.

Но есть больше, чем вы предполагаете, таких, которые умирают от печали.

Я расскажу вам обыкновенный случай.

Правила школы в Итоне требуют, чтобы мальчик провел там двенадцать лет.

Он выходит оттуда на восемнадцатом году жизни, а поступает туда на шестом.

Дети, оторванные в таком возрасте от матерей и сестер, очень часто умирают.

Я говорю только то, что знаю.

Никакой признак не позволяет назвать их болезни печалью, и все же она — печаль.

Печаль этого рода и в таком возрасте убила детей больше, чем можно было бы предполагать.

Поэтому-то Левана часто сталкивается с силами, которые потрясают человеческое сердце; поэтому же она так страстно возлюбила скорбь.

«Эти владычицы, — тихо шептал я себе, смотря на помощниц, с которыми разговаривала Левана, — это Скорби, и их три, как три Грации, которые красотой украшают жизнь человека; есть также три Парки, которые ткут темные ткани человеческой жизни на своих таинственных пальцах, всегда в красках отчасти траурных, а иногда, гневно, трагическим пурпуром и чернотой; также есть три Фурии, которые на зов приходят с той стороны гроба мстить за грехи, совершенные здесь; а когда-то было только три Музы, которые настраивали арфу, трубу и лютню на великие подвиги страстного человеческого творчества.

Это Скорби, которых я знаю всех трех».

Последние слова я говорю теперь; в Оксфорде я говорил: «Из которых я знаю одну, а двух остальных, должно быть, даже слишком, узнаю после».

Потому что уже весной моей молодости я видел (мгли-

сто обрисовывающиеся на темном фоне моих снов) неясные контуры этих страшных сестер.

Эти сестры — как мне назвать их?

Если я скажу просто «Скорби» — название легко может быть неверно понято, кто-нибудь мог бы подумать, что речь идет о скорби личной, о мелких случаях скорби, тогда как мне нужен термин, выражющий сильные абстракции, которые входят во все индивидуальные страдания человеческого сердца, и я стараюсь представить их в олицетворениях, то есть облечеными в человеческие особенности жизни и наделенными функциями, напоминающими тело.

Так назовем их «Матерями Скорби».

Я хорошо знаю их, и прошел я все их царства.

Это три сестры одного таинственного семейства: их пути далеко расходятся один от другого, но царство их не имеет конца.

И я часто видел их, как говорили они с Леваной; иногда они говорили обо мне. Значит, они говорят?

Ах, отнюдь нет!

Виденья властные, как они, презирают несовершенства речи.

Они могут подавать голоса посредством человека, когда живут в сердцах человеческих, но между собой не знают они ни голосов, ни звуков; вечное молчание господствует в царствах их.

Они не говорили, когда разговаривали с Леваной, не шептали, не пели, хотя не раз мне казалось, что они могли бы петь, потому что на земле часто я слышал разрешение их тайн на арфах и тамбуринах, на цимбалах и органах.

Как Бог, которому служат, они обнаруживают желанья свои не звуками, которые исчезают, не словами, которые ошибаются и обманывают, а знаками на небе, переворотами на земле, волнениями скрытых рек, геральдическими знаками, рисующимися на фонах тьмы и иероглифами, высеченными на мозговых покровах.

Они беспорядочно кружились, я считал шаги их.

Они сигнализировали из <телеграфного> отделения, я разбирал их сигналы.

Они чинили заговор, мой глаз следил в темноте за их умыслами.

Их были символы, слова же — *мои*.

Кто эти сестры?

Что они делают?

Я опишу их образ и существование, если образом можно назвать постоянно расплывающиеся контуры, и если существованием могут быть вечные порывы вперед и потом снова вечные отступления среди теней.

Старшую из трех сестер зовут *Mater Lacrimarum* — Мать Слез.

Это она день и ночь ропщет и безумствует, призывая скрывшиеся облики.

Она стояла в Риме, когда был слышен горестный голос — голос Рахили, плачущей о детях своих и не могущей утешиться.

Она стояла в Вифлееме в ту ночь, когда меч Ирода опустошал колыбели невинных, когда навеки задержаны были маленькие шажки, топот которых, раздавшийся наверху, в детских комнатах, пробуждал в любящем сердце домашних радостную дрожь, не остающуюся без эха даже в небесах.

Глаза ее то ласковы, то проницательны, то страстны, то сонны; часто поднимаются они к небесам, часто вызывают Небо.

На голове у нее диадема.

А из воспоминаний детских я знал, что с ветрами она может улететь далеко, когда услышит рыданья моленей или гром органов, или когда увидит процессию летних туч.

Эта сестра, самая старшая, носит у пояса ключи сильнее райских, отпирающие каждую избу и каждый дворец.

Она сидела, я это знаю наверняка, все прошлогоднее лето у ложа слепого нищего, того самого, с которым я так часто и так охотно беседовал, восьмилетняя набожная дочка которого, с солнечным лициком, воздержалась от искушений игр и деревенской веселости и целыми днями ходила по пыльным дорогам со своим несчастным отцом.

За это Бог послал ей великую награду.

В весеннюю пору года, когда еще ее собственная весна цвела наиболее пышно, Он призвал ее к Себе.

Но слепой отец все еще оплакивает ее; все еще в полночь снится ему, что маленькая ручка, которая водила его, до сих пор покоится в его руке, и всегда просыпается он в темноте, которая стала теперь для него новой, более глубокой темнотой.

Та же *Mater Lacrimarum* сидела всю зиму сорок пятого года в спальне одного из королей и выколдовывала перед его глазами дочь его (не менее набожную и любящую), которая не менее безвременно и внезапно ушла к Богу и оставила после себя тьму, не менее глубокую.

При помощи ключей своих проскальзывает Мать Слез непрошенои, призрачной гостьей в комнаты бессонных мужей, бессонных жен, бессонных детей; от Ганга до Нила, от Нила до Миссисипи.

А так как она первородна в роде своем и владеет царством обширнейшим — возвеличим ее именем «Мадонны».

Вторую сестру зовут *Mater Suspiriorum* — Мать Вздохов.

Она никогда не ступает по облакам, не улетает с вихрями далеко.

Не носит никакой диадемы.

Ее глаза, если бы можно было увидеть их, не были бы ни ласковы, ни проницательны; ни один человек не мог бы прочесть в них поступков ее; он только нашел бы бесспорядочное множество умирающих снов и обломки забытых безумий.

Но она никогда не поднимает глаз; голова ее прикрыта изорванным покровом, свешивается всегда на грудь, склоняется всегда к земле.

Она не плачет.

Не стонет.

Только иногда неслышно вздыхает. Сестра ее Мадонна — безумная, мятущаяся величайшим гневом к небу и требующая возвращения своих возлюбленных.

Мать же Вздохов не кричит, не взывает, не мечтает даже о возбуждении бунта.

Она покорна до подлости.

Она обладает ласковостью безнадежных существ и шепчет иногда, но только в сне.

Шепчет, но только самой себе, в сумерках.

Она повышает иногда голос, но только в безлюдьях, таких же мрачных, как и она, на развалинах городов, когда уже солнце ушло на покой.

Эта сестра навещает париев, галерников, изгнанников, вычеркнутых из книги памяти, угнетенных покаянников, вечно глядящих в одинокий гроб, кажущийся им ниспревергнутым алтарем какой-то старой кровавой жертвы, на котором уже никакие обеты, ни умоляющие и жаждущие прощения, ни вызванные желанием удовлетворения, ничем не могут помочь!

Невольник, с боязливым упреком смотрящий в полдень на тропическое солнце и одной рукой указывающий на землю, эту нашу общую мать, а для него мачеху, другой же на Библию, для него замкнутую и запечатанную; женщина, сидящая впотьмах, без любви, которая могла бы спасти ее голову, без надежды, которая освятила бы ее одиночество, страдающая, ибо рождены от небес стремления ее, которые будят в ней зачатки святой нежности, были затоптаны общественными условностями и теперь догорают, как надгробные фонари в древности; монахиня, ограбленная невозвратной весной жизни злыми родными, которых Бог накажет; все узники в темницах; все обманутые и все отверженные; все истогнутые из общества законами традиций; все дети наследственного проклятия, — все они обладают Матерью Вздохов, как неотступной подругой.

И она носит ключ, но мало нуждается в нем. Ибо царство ее прежде всего среди шатров Сема и среди бездомных бродяг под всеми небесами...

Но третья сестра, которая вместе с тем и самая младшая — тссс... только шепотом будем говорить мы о *ней*.

Царство ее невелико, иначе племя наше давно не существовало бы; но в этом царстве вся власть принадлежит ей.

Голова ее, возносящаяся, как голова Сибиллы, уходит почти за пределы достижимости взора.

Она не свешивается никогда; и глаза ее, вознесенные

так высоко, могли бы быть невидимыми из-за дали.

Но будучи тем, что они есть, они не могут быть невидимыми.

Сквозь тройной креп, который покрывает ее голову, сверкает дикий свет пламенного убожества, не угасающий никогда, ни утром, ни вечером, ни в полдень, ни во время прилива, ни в час отлива.

Она святотатственно вызывает Бога.

Она — мать лунатизмов и родительница самоубийственных мыслей.

Корни власти ее лежат глубоко; но племя, которым правит она, очень невелико.

Ибо приблизиться может она только к тем, у которых глубочайшие внутренние конвульсии перевернули со дна глубь природы, к тем, сердце которых дрожит, а мозг колеблется среди возмущения внешних и внутренних бурь.

Мадонна движется неуверенным шагом, быстро или медленно, но всегда с трагической красотой.

Мать Вздохов проскальзывает тревожно и украдкой.

Но младшая сестра приближается неисчислимыми дви-

жениями, обрушивается тигриным скачком.

Она не носит никакого ключа, ибо, хоть и редко появляется среди людей, она силой выламывает дверь, в которую, впрочем, она могла бы и так войти.

А имя *ее* — *Mater Tenebrarum* — Мать Тьмы.

Итак, это были *Semnai Theai*, или Великие Богини, это были Эвмениды, или Милосердные Владычицы (с тревожно-примирительной лестью называвшиеся так в древности), которые посещали сны мои в Оксфорде.

Мадонна говорила. Говорила своей таинственной рукой.

Прикасаясь к моей голове, она обратилась к Матери Вздохов, а то, что говорила она, переведенное со значков, которых никто (только во сне) прочитать не сможет, гласило следующее:

«Смотри! Вот тот, которого я уже в детские годы посвятила своим алтарям!

Вот тот, которого издавна я избрала в любовники; я зала его на ложные дороги, обманула его, украла у неба мо-

лодое сердце его и своим его сделала.

Через меня он стал идолопоклонником; под моим влиянием со страстным вожделением он обожествил червя земного и его гробу молился.

Святым был гроб для него, любимой — тьма его, святой — его гниль.

Я приготовила для тебя этого молодого идолопоклонника, дорогая, благородная Сестра Вздохов! Возьми теперь его ты, прижми к сердцу и приуготовь для нашей ужасной сестры.

А ты, — прибавила она, обращаясь к Mater Tenebrarum, — ты, Сестра Зла, ведущая к искушеньям и ненавидящая, возьми его от нее.

Смотри, чтобы скипетр твой тяжко на его голове опочил.

Не допусти, чтобы женщина с лаской своей подошла к нему в его темноте.

Отгони от него всякую слабость надежды, сожги всякую сладость любви, иссухи родник его слез, прокляни его так, как умеешь только ты проклинать!

Тогда выйдет он из огня совершенным; тогда он увидит вещи, которых не нужно бы видеть, увидит зрелища, которые будут мерзостью, узнает тайны, которых нельзя рассказать.

Тогда он сможет читать древние истины, истины грустные, истины великие, истины страшные.

Тогда он воскреснет прежде, чем умрет, и свершится предназначение, которое нам Бог поручил — удручать сердце его, пока не разовьются вполне способности духа его...»

Окончив читать, я взглянул на Ройко. Он сидел на постели, неподвижно устремив на меня глаза. Выражение его взгляда было загадочно.

— Мучили меня эти три сестры, — сказал он. — Вас не изумляет то, что де Куинси мог писать так, будто он знал меня и мою судьбу? Я читал эти грустные истины, сердце мое было в этом огне, но способности моего духа не вынесли от этих мук никакой пользы. А теперь вокруг меня тьма,

тьма, тьма... О, Mater Tenebrarum! Весь я уже твой! Проиграл я, упал, погиб...

Глаза у него были, как стеклянные, он беспорядочно размахивал вокруг себя руками, как будто действительно падал и хотел за что-нибудь схватиться. С тяжким вздохом, таким же, как когда-то в церкви св. Юлиана, когда я в первый раз увидел его, он погрузился в глубокий обморок.

С этого дня я уже почти не покидал Ройко; я понял, что смерть его близка. Я у него поселился. Не знаю, знал ли он об этом; он был совершенно апатичен, ничего не говорил и только смотрел вперед с каким-то тупым остоянением. Я сам тоже почти не жил; атмосфера этого дома, полная скорби и таинственности, невыразимо угнетала меня. Мне постоянно казалось, что я вижу кишащие в ней тени, образы, призраки. Особенно страшили меня из каждого темного угла три сестры, описанные де Куинси, а иногда мне казалось, что Мать Тьмы кладет мне на виски свои грязные руки. Меня ужасала зеленая завеса в передней, за которой валялись ненужные вещи: там, в моем воображении, скрывалась всегда Mater Tenebrarum...

Однажды утром в дверь постучала госпожа Целестина. Открыв дверь, я увидел ее в большом беспокойстве.

— Ради Бога, — шептала она, — идемте со мной! Я думаю, что случилось большое несчастье!

Я сразу же побежал вслед за ней. В коридоре госпожа Целестина продолжала:

— За весь вчерашний день я видела Виргинию только раз, ранним утром. Она была заплакана, бледна и производила впечатление существа чрезмерно несчастного. На мой вопрос, что случилось, она ответила, что жизнь для нее стала невыносимой тяжестью. Тот военный больше не пришел и грубо велел передать ей, что он и вообще уже не придет. Она побежала к нему, он избил ее на улице, получилось зрелище для зевак. На мои советы помириться с судьбой, она отвечала только гневными взглядами. Заперла передо мной дверь. Я стала стучать, какое-то предчувствие не давало мне покоя. С того времени я стучала уже три раза, она не откликается, никто не видал Виргинию. Я боюсь,

что она совершила самоубийство.

Мы уже подошли к дверям, госпожа Целестина снова несколько раз постучала и, наконец, обеспокоенная, принялась бить в дверь кулаками. Я обращался к Виргинии из-за двери, чтобы она хоть откликнулась. Ответа не было. На поднятый нами шум стали сбегаться соседи и один из них закричал:

— Несомненно, она совершила самоубийство! Посмотрите, дырка для ключа заткнута какой-то тряпкой! Так делаю все, кто хочет задохнуться от угольного чада!

С минуту после этих слов стояла мертвая тишина, но потом сразу же поднялся страшный шум, и прежде, чем я успел опомниться, дверь комнаты Виргинии была выломана. Сильный запах газов и чада, выходивший из комнаты и наполнявший коридор, мгновенно убедил нас в том, что сосед был прав. Зазвенели стекла, разбитые первыми, кто подбежал к ним, и через минуту мы осматривали комнату.

Две железных жаровни, наполненные пеплом и полуистлевшим углем, объяснили нам, каким образом Виргиния лишила себя жизни. Она лежала, задохнувшаяся, на кровати; тут же рядом на столике стояла фотография того военного, увенчанная цветами; возле фотографии лежало восковое сердце, приколотое большой шпилькой, а на столе были написаны мелом сплетенные инициалы L и V.

После первых мгновений испуга и ужаса, всегда сопутствующих смерти, когда я тщетно пытался вернуть к жизни Виргинию, кое-кто начал посмеиваться над сентиментальностью этой престарелой женщины. Но мы с госпожой Целестиной не смеялись; эта трагическая юмористичность скорее трогала нас.

Пока заперли дверь и послали за комиссаром полиции, я невольно обвел глазами комнату. Взгляд мой упал на окно; клетка, в которой пела всегда маленькая птичка, была открыта и пуста: Виргиния перед смертью даровала ей свободу. Я почувствовал в ту минуту, будто ушей моих коснулась нежная музыка, тихая и длительная, какое-то сладкое дрожание струн среди гула грязных голосов дня. Я припомнил маленького певца; сонно, мечтательно мелькнул он в



моем воображении; мне показалось, что я вижу его летящим в святилище задумчивых лесов, где лесные фиалки нежно пахнут в тени над ручьем, и не знаю, по какой ассоциации образов, мне тотчас же пришел на память брат несчастной Виргинии, брат, умерший молодым, там, далеко, в древней, полной грусти бретонской земле, где по сей день у предвечных берегов моря глубоко шумят дубы друидов...

Бедная Виргиния! Не вернется уже она никогда в край своего детства и невинности, не склонит покаянно колен над могилой этого чистого, безгрешного юноши, который ее, валявшуюся в грязи и разврате, так нежно любил! Не понесла ли маленькая певучая птичка последний привет этой еще чуткой, несмотря на все убожество и падение, души туда, далеко, на зеленую могилу юного семинариста?

Я вернулся к Ройко. Шум и крики в доме доходили почти до его комнаты; он не спрашивал ни о чем, но так, без всякой связи с чем-либо, точно сам себе сказал:

— Смерть вошла в дом.

Весь этот день он был очень слаб и производил впечатление полного сомнамбулиста. Он не дотронулся до еды, не попросил ни капли воды. Минутами на его лице была та самая остолбенелость, как и тогда, когда я встретил его на берегу, и он сказал мне, что «после долгого перерыва с ним снова заговорили они».

Весь день я чувствовал какое-то смутное беспокойство, потом меня стала одолевать сонливость. Из полудремоты вывели меня шаги в коридоре и смешанные голоса. Я легко угадал причину и вышел за дверь: пришли за трупом Виргинии, чтобы отправить его в морг. «Прощай, бедняжка!» — прошептал я и вернулся в комнату. Полная тишина воцарилась и здесь, и во всем доме. Мне казалось, что Ройко крепко спит — и вскоре я сам глубоко уснул.

Вдруг раздался смех — такой страшный, такой пронизывающий, такой — я сказал бы — неземной, какого мне никогда не приходилось слышать. Кровь застыла у меня в жилах, мороз пробежал по телу. Испуганными глазами я осматривался вокруг в темной уже комнате, собирая разорванные и неясные мысли. Это Ройко так безумно смеялся.

Я подбежал к нему. Схватил его за руку.

— Что привело вас к такому веселью? — спросил я, изумленный и обеспокоенный.

Он еще долго трясясь от смеха.

— Засмейся же и ты, друг, — наконец сказал он. — Знай, что после долгого времени я опять сознавал их. Я видел и слышал...

Он снова засмеялся, но уже с меньшим безумием, а когда утих, продолжал:

— Там где-то, в этом темном пространстве, на одной из тех звезд, на которые с такой безбрежной тоской глядим мы, я видел умирающее существо, существо вроде человека, умирающее, как я умираю здесь... И тот умирающий не был совершенно покинут. Кто-то был при нем, как вы при мне, кто-то утешал его, как вы утешаете меня иногда... Кажется, он много и долго страдал там, на звезде, так спокойно и ясно светящей среди наших ночей! Его друг поднял склоняющуюся голову умирающего и сказал ему: «Ты уходишь и, наконец, твои скорби и печаль, все страданья твои окончатся! Тебя ждет избавление. Ты не исчезнешь в ничтожестве и мраке. Подними глаза туда, к тем светящимся звездам. На одной из них ты снова родишься. Там уже ты не узнаешь ни вздохов, ни слез, и это будет наградой тебе!» И этот друг-утешитель поднял руку и указал звезду зеленоватого блеска, плывущую в одеждах тихой славы через бесконечные пространства со своим верным другом — бледным месяцем, и в этой звезде я узнал нашу землю...

Ройко снова разразился безумным смехом, какого раньше я никогда не слыхал у него; смех этот, к моему ужасу, перешел в хрипение агонии, и, заливаясь этим нечеловеческим, судорожным, демоническим хохотом, полузадохнувшись от него, Ройко скончался у меня на руках!

Я выпустил его труп, сразу страшно отяжелевший, и, весь дрожа от ужаса и сострадания, больше, впрочем, от ужаса, я убежал из комнаты, даже не закрыв за собой дверь, как это я припоминаю теперь. Этажом ниже, неподалеку от двери покойницы Виргинии, я на минуту остановился, чтобы передохнуть.

Теперь я совершенно ясно припоминаю, что там я почувствовал дым и закашлялся, но не обратил на это внимания и не задумался, откуда дым. Все, что я видел, слышал, чувствовал — было словно в тумане и во все вмешивался ужас этого смеха, отзвук которого все звучал у меня в ушах, в памяти, в мыслях.



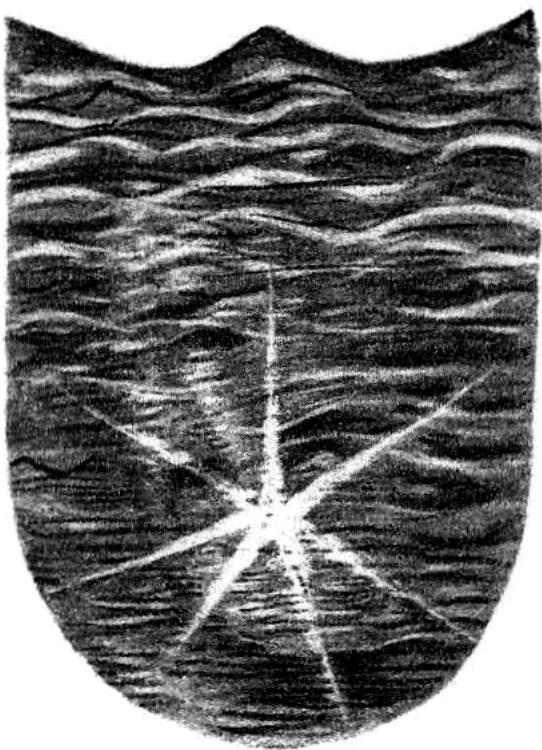
Я отдохнул с минуту и побежал дальше. Как в беспамятстве, бегал я по улицам, толкал людей, несколько раз подвергался опасности попасть под колеса экипажей. Где-то на берегу я остановился, засмотрелся на шумящую воду, и рассудок понемногу вернулся ко мне. Я медленно возвращался к дому «под утопающей звездой». Было уже поздно, и меня удивило совершенно необычное в это время движение на соседних улицах, всегда таких пустынных. Люди сбегались отовсюду. Их волна уносила меня.

На углу я свернул в знакомую улицу. Дом «под утопающей звездой» стоял передо мной страшно освещенный. Верхние этажи его пылали. Пламя вылетало изо всех окон, из окон Ройко, из окон Виргинии, из окон «клетки идиоток». Я осталбенел. Толпа притиснула меня к какой-то стене, и я должен был стоять как прикованный, не имея возможности пробиться вперед.

Я тупо смотрел на распространявшийся огонь, и мне казалось, что я сплю. Вокруг себя я слышал рассказы; кто-то совершенно убежденно объяснял, что в этом пылающем до-

ме какая-то женщина лишила себя жизни угольным чадом. Когда после ее смерти в комнату вбежали люди, никто, вероятно, не заметил, что там уже тлели вещи. Ночью долго тлевший огонь вдруг сразу вспыхнул и распространился с неслыханной быстротой. На последний этаж пробраться уже было нельзя, и там, должно быть, задохнулись три ста-рушки. Когда приехала пожарная команда с лестницами, вся эта часть дома была уже в огне. Так же, должно быть, сгорел там какой-то больной мужчина, а если кто-нибудь был с ним в то время, он тоже несомненно погиб...

Я как во сне слушал все это. Ни на минуту не мог я отвести глаз от дико бушевавшего пламени, и мне показалось, что в разваливающемся окне Ройко я вижу три громадные тени, таинственные, окутанные покровами черного дыма, те три предвечные пряхи, три «Матери Скорби»... А над всем шумом людей, над грохотом работающих пожарных машин, над диким воем вихря и пожара все еще звучал для меня страшный, полный ужаса, безумный, демонический смех несчастного, умирающего человека...



INULTUS

Пражская легенда

Пер. В. П. Глебовой



Предисловие к легенде Зейера «Инультус»

Считаю необходимым напомнить читателям, что эпоха Белогорской битвы является одной из самых кровавых в истории Чехии.

Восстание, поднятое в защиту свободы вероисповедания от посягательств на нее нового короля Фердинанда Штирийского, получившего чешский престол и нарушившего обещания своего предшественника, закончилось в 1620 году полным поражением чехов в бою при Белой горе, и вся страна подпала под власть немцев. На следующий день после этой злополучной битвы, все главари восстания — члены первых родов Чехии — были обезглавлены перед Пражской ратушей, а все чешское дворянство должно было или эмигрировать, или отказаться от своей национальности, своего языка и гуситских преданий. Его имения были конфискованы и переданы немецким пришельцам, которые и образовали чуждое народу дворянство. Вся буржуазия стала говорить только по-немецки и чешский язык стал простым, народным наречием. Все чешские школы, покрывавшие густой сетью страну, были закрыты. Приверженцы Яна Гуса и лютеранства скрывались в лесах, а иезуиты, пытаясь овладеть всецело душами чешского народа, старались изгнать из них ереси Гуса и Лютера при помощи пыток, казней и конфискации имущества.

От всего населения когда-то цветущей Чехии осталось не более восьмисот тысяч человек. Чехия была стерта с лица земли...

И только такая эпоха могла породить ту экзальтацию, которая так художественно передана Зейером в его легенде.

Это случилось в Праге почти двадцать лет спустя после Белогорской битвы.

Вечер был чудный. Градчин пламенел в розовом свете заката, а Влтава переливалась темным, жидким янтарем. На Карловом мосту тянулись вереницы колымаг, кишили люди — конные и пешие; красовались на горячих жеребцах в богатых шляхетских одеждах гордые чужеземцы — победители, властвовавшие теперь над опустошенной страной. Проезжали и другие — проклятые изменники, в жилах которых текла родная чешская кровь, проданная ими за иудины сребреники. Это была красивая картина. В тяжелых раззолоченных колымагах покачивались прелаты, которые не пустили бы к себе в дом Спасителя, постучись Он босой и в ру比ще; с гордой презрительностью посматривали на толпу проезжавшие красивые женщины в шелках и парче, и, казалось, в их легкомысленных душах не было ни одного настоящего, хорошего, чистого женского чувства. Между конями и колымагами пробирались не спеша тучные горожане, вечно спокойные, если только их кошелек был полон и обед по вкусу. Они прекрасно дополняли пеструю картину, и в ней было только одно темное пятно — толпа оборванных нищих на мосту около башни. Они одни остались верны чешской земле, являясь теперь символом надолго посетивших родимый край несчастий, слез и мук.

Гордые шляхтичи, сытые горожане и нарядные панны окидывали взглядами эту толпу измощденных, жалких людей, а если им и случалось заглянуть ей в глаза, то они быстро отворачивались от этой неприятной картины. Только изредка какая-нибудь проходящая женщина в трауре подавала беднякам милостию. Нищие сидели на мостовой, прижавшись друг к дружке; старики, слепцы, немощные и покрытые язвами составляли точно одно семейство: их всех сроднила тяжелая нужда.

Неподалеку от этой кучки остановился молодой человек, одетый немногим лучше их, хотя гораздо чище. Его бледное лицо было необычайно красиво и удивительно благородно, а длинные волосы и мягкие усы напоминали тем-

ное золото. Темные глаза были глубоки и влажны и невольно притягивали к себе мечтательной, загадочной грустью. С минуту он смотрел на нищих со страдальческой улыбкой, пошарил в своих пустых карманах и, найдя там мелкую монету, положил ее на ладонь старого слепца.

Опустив голову, он отошел к решетке моста и засмотрелся на здания Градчина, начавшие окутываться лиловым полумраком. Отблески розового света медленно погасали на них. Он долго-долго смотрел на Пражскую крепость, лицо его слегка оживилось и покрылось румянцем, а губы что-то шептали. Он опустился на землю около нищих и закрыл лицо руками.

Солнце давно зашло. Колымаги перестали дребезжать и топот коней затих. Мост понемногу опустел, нищие тоже ушли: подаяний больше нечего было ждать. Но юноша все еще сидел неподвижно. Наконец он встал и оглянулся. Настала ночь и на небе загорались звезды. Внизу таинственно шумела река.

— Не броситься ли туда? Там я нашел бы покой и тишину, там нет больше ненависти, нет насилия, несправедливости и позора, — прошептал он.

Внизу, среди волн, отражались звезды. Юноша поднял вверх глаза, к настоящим звездам, сверкавшим все яснее и ярче. Их безмятежность пала на его душу, как откровение, и в их безмолвии словно таилось обещание какого-то неопределенного, но безграничного блага.

— Я не знаю, что такое счастье, и не знаю, кто мог бы объяснить мне это...

В раздумье он повернулся, чтобы уйти, и в эту минуту неожиданно переступил дорогу двум незаметно приблизившимся фигурам. Это были сгорбленный и старый мужчина с молодой и стройной женщиной. Старик поднял зажженный фонарь, который нес в руке, и свет от него прямо упал на бледное, грустно-задумчивое и прекрасное лицо юноши.

Из уст женщины вырвалось легкое восклицание удивления. Она быстро и тихо произнесла несколько слов по-итальянски, схватилась за кошелек и протянула юноше

щедрую милостыню.

— Я не прошу, — сказал он, выпрямившись, и во взгляде его сверкнули укоризна и гнев, хотя бледное лицо было спокойнее мрамора.

Она рассеянно скользнула глазами по его бедно одетой фигуре и теперь рассматривала благородные черты его лица.

— Простите, — сказала она, и ее звучный грудной голос раздался среди ночи, точно музыка. — Я не желала вас оскорбить. Ведь вы знаете, что на этом мосту всегда бывают нищие, и я в темноте не могла хорошенько разглядеть, кто вы. Чем могу я загладить свою вину? — И она протянула ему руку. Рука была холодна, как камень, жесткая и тяжелая.

— Я больше не сержусь, — ответил юноша и вздрогнул, прикоснувшись к протянутой руке; ему показалось, что он прикоснулся к трупу. «Не привидение ли это?» — мелькнуло у него в голове, и он внимательнее взглянул на нее.

Она была красива, красивее всех женщин, когда-либо виденных им. Но в этой красоте было что-то каменное, как и в ее прикосновении. И только тут он заметил, что она все еще держит его за руку.

— Докажите, что вы действительно не сердитесь. Будьте так любезны, посетите нас. Я приглашаю вас на ужин.

Он быстро отдернул руку, и при свете фонаря красавая женщина увидела, как он сразу покраснел и опустил глаза. Она гордо и спокойно усмехнулась.

— Я донна Флавия Сантини, из Милана, — коротко сказала она. — Вы никогда не слыхали моего имени? Многие знатнейшие люди этого города считали бы за честь мое приглашение, которое вы отвергаете. — Она сделала рукой знак своему спутнику и сказала: — Ступай и свети.

— Простите, — пролепетал смущенный и пристыженный юноша и пошел рядом с ней.

Лицо ее было все так же спокойно, и она смотрела гордо и холодно.

— Вы никогда не слыхали моего имени? — повторила она свой вопрос.

— Нет, — робко ответил он. — Вы, вероятно, из тех чужестранцев, которые теперь властвуют над этим несчастным краем?

— Да, я здесь чужая, но мой род ни тут, да и нигде никем не властвовал. По происхождению я только горожанка, и если моя рука все-таки протягивается за короной, то за той лишь, которая дается искусством.

— Ах, — вздохнул юноша. — Быть художником! Творить! Творить! — Он поднял глаза к небу и потом опустил голову.

— А вы кто? — спросила красавица.

— Я поэт, — прошептал он так тихо, что слова рассеялись в воздухе вместе с дуновением вечернего ветерка. И ему сделалось грустно и тоскливо. Он подумал о тех песнях, которые звучали у него в душе и рвались на волю из его стесненной груди, словно птицы из клетки. Его тяжело давил камень проклятия и несчастия, так же, как и всю его родину. Там, где-то в глубине его души, звучали песни, полные ненависти, рыдали покаянные песни, оплакивавшие гибель отчизны и смерть близких, но не находили для себя ни слов, ни выражений, как будто гений его родины онемел. И люди, и сама страна казались мрачными и окаменевшими. Донна Флавия услыхала его тихий шепот.

— Вы поэт? Это хорошо: тем скорее вы меня поймете. То, о чем я хочу с вами поговорить, очень важно.

Поэт чувствовал себя теперь совершенно свободно. Ему казалось, что он идет с другом, от его волнения не осталось и следа. Они молча шли, поднимаясь в гору по кривой, пустынной и темной улице. Над крышами домов выделялись очертания градчинских монастырей и дворцов. Они остановились перед одним небольшим домом с высоким шпилем. Старик поставил фонарь, отпер дверь, и они вошли. Деревянная лестница с богатыми резными перилами вела наверх в единственный этаж дома. Наверху отворились темные чудной работы кованые двери и в них появилась старуха странного вида, в черной одежде, с длинными четками на груди, висевшими до пола. Она держала в руке большой канделябр с тремя восковыми свечами и молча по-

клонилась донне Флавии. Ее желтоватые совиные глаза смотрели куда-то вдаль и, казалось, видели то, чего никто не видит.

— Плацида, я веду к тебе гостя. Дай нам поужинать.

Стены просторной комнаты были покрыты фландрскими коврами, посередине стоял большой тяжелый дубовый стол с резьбой и несколько больших кресел, огромный буфет занимал почти всю стену и был наполнен старинной серебряной посудой. Эта обстановка показалась царски-роскошной поэту, жившему в бедной комнатке в пустынном квартале города у Новоместских бастионов. Но он не выдал своего изумления и смотрел на ковер, покрывавший большую часть кирпичного пола.

Плацида молча накрывала на стол, двигаясь точно во сне, а старик, провожавший донну Флавию, видимо, слуга, придинул стулья и зажег еще три восковых свечи в другом большом канделябре.

Донна Флавия вышла, но скоро вернулась; на ней было надето темно-золотистое шелковое платье с глубоким вырезом у ворота, руки были украшены серебряными браслетами. Мягкие, густые каштановые волосы были просто и красиво причесаны; они поднимались над высоким гордым лбом, а большие, на редкость чудные карие глаза привлекали к себе, но взгляд их был холоден.

Флавия заняла место за столом, предложив юноше сесть против нее. Бывший все время в комнате старик тоже сел с ними.

— Квидон и Плацида служили моим родителям и знают меня с самого раннего детства. А Квидон мой друг.

Старик молча улыбнулся.

— Он немой, — тихо сказала Флавия. — Итак, вы никогда не слыхали моего имени? А ведь я уже несколько лет в Праге и про меня говорят, что я знаменитость. Вы, может быть, не слыхали имени и Проперции де Росси? Не слыхали? Ну, это должно служить утешением для моего самолюбия. Проперция де Росси из Болоньи была одним из самых известных итальянских скульпторов. Ее работы полны силы и божественной красоты. Я видела их в Италии еще ребен-

ком и уже тогда полюбила их. Они дали толчок и направление всей моей жизни. Я тоже сделалась скульптором. — Она замолчала, а потом задумчиво произнесла: — Достигну ли я когда-нибудь ее высоты? — Взглянув на молодого поэта, она спросила: — Как ваше имя?

Он нахмурился, в его глазах появилось выражение скорби; и он не сразу ответил; наконец сказал:

— Меня зовут Инульций.

— Инульций? Странное имя, — заметила Флавия. — *Inultus* — неотмщенный. Я думаю, что никто, кроме вас, так не называется.

— И все-таки, — ответил юноша, — каждый мог бы так называться в этой несчастной стране, потому что здесь нет ни одной души, которая не ожидала бы отмщения.

— А! Вы принадлежите к недовольным, тем лучше.

По лицу Инульция пробежала тень, и он молчал.

В эту минуту Плацида подала им на серебряном блюде скромный ужин. Хозяйка приветливо пригласила его к трапезе. Он был голоден и теперь с большим аппетитом принялся за еду, стараясь, однако, не показаться слишком жадным. Сама донна Флавия притронулась только к фруктам. Потом она приказала Плациде зажечь лампу в мастерской. После ужина Флавия встала и отдернула занавес, за которым оказалась небольшая дверь.

— Я покажу вам свою работу и объясню, для чего я привлекла вас к себе. Пойдемте.

Три больших лампы освещали глубокую обширную комнату, в которую вошел Инульций. Барельеф из белого мрамора, изображавший жену Пентефрия в тот момент, когда она сдергивает плащ с плеч Иосифа, бросился ему в глаза. В этой работе было столько силы, страсти и вместе с тем красоты, что пораженный Инульций воскликнул:

— Мадонна! Как вы велики и божественны в своем творчестве!

— Нет, — отвечала она, — это работа Проперции де Росси. Я еще не достигла такой высокой степени творчества, но та, к которой я стремлюсь, еще более велика и высока, и вы должны помочь мне достигнуть ее.

— Я? — удивился Инульций. — Но как же я могу помочь вам?

— Я сейчас объясню. Проперция де Росси полюбила и, как говорят, умерла из-за отвергнутой любви. В этой жене Пентефрия она воплотила и свою страсть, и свое отчаяние. Любя смертного, Проперция осталась роковым образом прикованной к земле. Я же не знаю, что такое любовь и никогда не хочу узнать ее. Я смотрю ввысь, к самым звездам, где пребывает призрак бессмертной славы. Мое искусство — единственная моя любовь, мое единое божество.

Она подошла к большой белой занавеси, отдернула ее и Инульций увидел Христа, распятого на высоком деревянном кресте. Жизненность всей фигуры, вылепленной из глины, поразила Инульция, и только лик Спасителя был неясен и незакончен.

— Моим наивысшим стремлением и самым тяжким страданием была задача — показать умирающего Христа в тот момент, когда Его страдания превзошли все человеческие силы. Чтобы при взгляде на Него сердце каждого дрогнуло. Воплотить в мраморе потрясающую трагедию Голгофы со всей ее жизненной правдой, с дрожью ужаса, в сиянии неземной красоты. Вот смелая мечта всей моей жизни! До сих пор не удавалось ни одной женской руке, ни с помощью резца, ни с помощью кисти, изобразить то, что представляется моему уму; даже ни один мужчина не выполнил этого. Вот уже два года, как я стараюсь претворить в явь мой сон, мои мечты. Я множество раз изменяла выражение лица моего Христа и каждый раз жестоко ошибалась. Я не верю в Христа и, вероятно, поэтому Он не может явиться моей душе, не может отразиться в моем сердце. Я не имею этого преимущества верующих, и от этого мне с трудом приходится искать Его в своем воображении, приходится самой творить, — и мое бессилие приводит меня в отчаяние.

Инульций весь задрожал.

— Не верите в Христа?! — воскликнул он, и его глаза наполнились слезами.

Ему казалось, что это богохульство из прекрасных уст наносит его Спасителю еще одну рану, и вместе с тем он не

мог не чувствовать сострадания к этой несчастной женщины, холодной, как мертвый камень, с ее темной, неверующей душой. Она встрепенулась, увидев, какое впечатление произвели на него ее слова.

— Как похожи вы на того Христа, о котором гласит легенда и каким изображает Его искусство! — с жаром воскликнула она. — Давно уже — и все напрасно — ищу я в людской среде образец для Того, Кто не может явиться моей душе... Когда я увидела вас на мосту, я вскрикнула от радости и удивления, что, наконец-то, нашла модель для моего Христа. И теперь я еще больше убеждаюсь, какое счастье приносит мне наша встреча. Инульто, я создам Его благодаря вам. Вы будете образцом для моего умирающего Царя Иудейского!

— Никогда! — воскликнул со страхом Инульций. — Я не достоин этого. И как можете просить вы, мадонна, о чем-нибудь подобном!

Она рассмеялась.

— Какой вы ребенок, мой друг!

Внезапно схватив его за руку, она посадила его в кресло у большого раскрытого окна, а сама села на широкий подоконник, покрытый ковром, ниспадавшим в комнату. Ночь была тихая и звездная. Через крыши Малой стороны был виден весь город и далекие темные очертания гор, меж которыми сверкала Влтава. Шум реки доносился сюда грустным ритмом, точно тихо и безнадежно рыдала сама Прага, лежавшая у ног мрачной крепости, точно раздавалася стон скованной королевны в неволе. Взглянув в окно на город, юноша мгновенно почувствовал все великое, немое страдание своей несчастной страны, чье имя было вычеркнуто из книги живых, чья звезда закатилась во мгле смерти и мрака. Тяжелый вздох вырвался из его груди, и он закрыл лицо руками.

— Друг мой, я знаю, что происходит в вашей душе. Я понимаю вас, хотя я и чужестранка. Но, исполняя мою просьбу, вы можете оказать великую услугу оплакивающей вами с бессильной скорбью вашей родине и вашему народу.

Удивленный Инульций вопросительно открыл глаза.

— Да-да, сейчас я объясню вам. Один из тех всемогущих владык, в руках которых находится теперь судьба этой страны, назовем его доном Бальтазаром, посещает мой дом. Наши семьи связаны давней близостью, и по его приглашению мой отец прибыл в Чехию. И хотя посещения дона Бальтазара для меня великая честь, но я не рада им, потому что его католические черные глаза возбуждают во мне неподдельный страх. Однажды я говорила при нем, как представляю себе умирающего Христа, хотя из осторожности и не призналась, как вам, в своем неверии в Его Божественность. На другой день дон Бальтазар пригласил меня в свой мраморный дворец, убранный с царской пышностью. Он привел меня в свою сверкающую золотом мольельню, где до сих пор стоит пустой алтарь, и сказал:

«Моя душа устала от страстей, усыплена перебирианием четок, отупела от борьбы, которую надо вести с населением этой мятежной, еретической, проклятой страны. Я уже не могу искренне молиться. Дайте мне сюда Того Христа, о котором вы вчера говорили. Он тронул бы меня своей предсмертной мукой, вызвал бы отклик в моей дремлющей душе, — и я по-царски вас награжу, я вознесу ваше имя к звездам».

Так говорил мне дон Бальтазар, и с этой поры я живу, точно в лихорадке...

Инульто, по вашему лицу я создам Христа, изобразив в нем всю ту безграничную скорбь, которая наполняет вашу грудь. Может быть, немой крик вашего смертельно грустного лица пробудит человеческое чувство в мрачной, гордой, католической душе этого испанца, может быть, вызовет у него слезы. Если так случится, тогда вашими устами весь этот несчастный край спросит Господа Бога: «Почему Ты покинул меня?» И вы должны знать, что отсюда могло бы явиться спасение Чехии. Слыщите, Инульто, плач этой глубокой реки? Видите, как ваша родная прекрасная Прага поднимает в отчаянии руки к звездам?

Она умолкла, ее глаза горели и были обращены с мольбой на его лицо. Инульций не мог побороть охватившей его дрожи. Он протянул Флавии обе руки.

— Я исполню вашу просьбу! — воскликнул он восторженно. — О, привяжите меня ко кресту. Вложите все муки этой земли, которые вы прочли на моем лице, в черты своего умирающего Христа, и может быть, вид Его тронет каменные сердца поработителей нашей родины... А может быть, и в вашей душе раздастся тихий голос, который скажет вам, что Христос действительно жил, и что Он Бог?

Флавия держала его руки в своих.

— Может быть, это и случится, — сказала она, не глядя на него, чтобы он не заметил, что она не верит своим словам. Потом прибавила: — Теперь идите, мой друг, и возвращайтесь завтра утром. Мой кошелек для вас открыт, а мое сердце полно благодарности.

Он умоляюще взглянул на нее и махнул рукой.

— До свидания, — сказала она и кликнула старого Квидона. Тот проводил Инульция и запер за ним двери.

Флавия все еще стояла в глубокой задумчивости у окна, когда вошла Плацида.

— Взгляни сюда.

Флавия обернулась.

— Этот венецианский бокал, из которого пил твой гость, треснул раньше, чем я успела прикоснуться к нему. Этот человек принесет несчастье в твой дом.

Флавия рассмеялась.

— Ты знаешь, что я не суеверна.

— Когда он вошел в дом и я вам светила, — заговорила Плацида, — я увидела, что мы — я и ты — бросаем в подвал окровавленное тело твоего гостя.

— Ты, верно, спала, Плацида, — сказала спокойно Флавия, — и еще не проснулась, когда нам светила, а твои сны всегда такие тяжелые и страшные.

— А иногда и пророческие, — прибавила та.

Инульций бродил по спящей Праге и не думал о сне. Мечтательно, точно в бреду, он смотрел на звезды, подходил к темной реке, погружался в темноту глубоких улиц и восторженно взывал к Богу, прося Его исполнить мечту Флавии, ставшую его собственной мечтой. Ему казалось, что Бог слышит его молитвы и пошлет через него облегчение

страдающей родине.

Наутро, бледный и страшно усталый, он постучался у дверей дома итальянской художницы.

Ему отворил немой слуга и приветливо, улыбаясь, повел в мастерскую. Флавии еще не было, и появившаяся Плацида передала Квидону ее приказание:

— Госпожа велит тебе приготовить все, как она говорила вчера, — и сейчас же удалилась.

Квидон предложил Инульцию раздеться и начал быстро помогать ему. Он подвел почти обнаженного и босого Инульция к лесам в виде большого деревянного креста на подмостках, поднял его, как ребенка, на высокую подножку под крестом и крепко привязал веревками к перекладинам креста его руки, а потом привязал к самому кресту и ноги, и отнял подножку.

Вошла Флавия. В свободном темном закрытом платье, опоясанная одним кушаком, она была еще прекраснее, нежели вчера, но была и еще строже, а выражение лица ее было еще холоднее, чем накануне. Она молча и серьезно взглянула на Инульция и принялась за свою работу. Через час обессиленный Инульций упал в обморок, и когда к нему вернулось сознание, донны Флавии уже не было в мастерской. Квидон и Плацида развязали веревки, помогли Инульцию одеться и принесли вина и пищи.

Он долго лежал на ковре, на подложенной Квидоном подушке. После отдыха немой заботливо помог ему сойти с лестницы и проводил до моста.

Теперь Инульций каждый день претерпевал настоящее мученичество. Почти нагой, привязанный крепкими веревками, до крови натиравшими его отекшие члены, он висел на кресте в продолжение долгих часов, голодный, томимый жаждой, потому что он уже не мог ни есть, ни пить как следует, — висел в каком-то лихорадочном экстазе, вызванном его непрестанными размышлениеми о мучениях Христа, которые ему суждено было самому испытать телом и духом. Им овладело как будто безумие. Разгоряченное воображение внушало ему, что сам Бог послал его в несчастный чешский край, чтобы он спас его этими крестными

муками. Ему казалось, что на него, висящего на кресте, ни-
сходил дух самого Испкупителя, Сам Дух Божий, что он про-
свечивал через смертную оболочку его тела, дабы с помо-
щью великой тайны творчества озарить мрачную душу то-
го испанца, о котором говорила Флавия, что он держит в
своих руках судьбу несчастной чешской земли. Он почти уми-
рал от восторга при мысли, что, благодаря его страданию,
муки родной земли будут облегчены и освобожденный на-
род оживет, потому что он чувствовал, что за это великое
счастье он отдаст во славу Божию собственную жизнь.

Инульций чувствовал себя счастливым, но донна Фла-
вия с каждым днем становилась все мрачнее и мрачнее.
Пока она работала, ей казалось, что работа удается; но как
только уходил Инульций и она оставалась в одиночестве,
то снова переживала всю горечь, всю тяжесть разочарова-
ния.

— Нет, это все еще не то, что мне нужно! — восклицала
она с отчаянием. — Это измученное, изможденное тело вы-
зывает сострадание и ужас. Этим я довольна. Но лицо! Оно
прекрасно, но только грустно, как лицо Инульто. Грустное,
вдохновенное, непорочное и правдивое. Но этого мне мало.
В этой усталости и слабости я не вижу смертельной муки.
Где таинственное выражение души, расстающейся со своим
телом?

И однажды в порыве отчаяния она схватила кинжал и
изрезала им прекрасное, вдохновенное и печальное лицо
своего Христа. Но потом села у его ног и принялась плакать.
Однако слезы не принесли ей облегчения. Ей казалось, что
она совершила убийство. Вошедшая Плацида взглянула на
испорченную работу, на плачущую Флавию и подошла к ней.

— Ты плачешь об Инульто? Несчастная!

— О ком? — спросила Флавия, вдруг побледнев.

Ее сердце так сильно билось, что она слышала его бие-
ние в своей груди. И вдруг ею овладел такой припадок гне-
ва, что она кинулась на Плациду с кинжалом в руке.

— Ты лжешь!

— Тем лучше, — отвечала Плацида, хладнокровно от-
страняясь.

К Флавии вернулось спокойствие.

— Уйди! Я ненавижу тебя... и его.

Плацида ушла. Флавия упрямо мотнула головой и начала исправлять испорченную голову Христа. Наутро, когда явился Инульций, она снова терпеливо и усердно принялась за работу, как будто ничего не случилось.

Но она уже ненавидела его за ту минутную слабость, которую почти бессознательно почувствовала к нему и которую подметила Плацида своими большими желтыми совиными глазами. И, ненавидя Инульция, она еще сильнее начала любить свою работу, которая теперь все больше и больше приближалась к ее мечте. Но в этом не было ничего удивительного, потому что Флавия с каждым днем все яснее и яснее видела долгожданную тень смерти на лице измученного Инульция. А его опьяняла мысль о смерти, как других опьяняет любовь или вино. Среди того ада, в котором он жил, для него, потомка когда-то славного, теперь уничтоженного рода, для чеха, видевшего родную землю растоптанной, обращенной в одну отвратительную, окровавленную массу, для поэта, не умевшего выразить то, что наполняло его грудь, жизнь уже не представляла очарования, она не улыбалась ему, и смерть являлась желанным искуплением не только для него, но — может быть — и для его родины, для всего народа; она казалась ему самым прекрасным, самым возвышенным из всего того, с чем может человек встретиться здесь, в этой юдоли слез и печали. Перед ним сияло его близкое спасение, точно венец из звезд, и Флавия могла быть спокойна, — она не ошиблась — он обладал ореолом избранных.

Как-то утром он пришел, сияя от счастья. У него явилось предчувствие, что именно сегодня он получит то, к чему давно стремилась его душа. Донна Флавия вошла, как всегда, когда он уже был привязан к кресту. Он был почти весь обнажен, и ей показалось, что от всего его тела исходил какой-то странный свет. Она не без удивления взглянула на его лицо и нахмурилась, увидав выражение бесконечного счастья, которое на мгновение стерло все следы долгих мук. Это не было выражение ее Христа в смертной

агонии. Это счастье мешало ее работе.

— Не улыбайтесь так сладко, — сказала она резко. — Этот луч счастья в ваших глазах не соответствует вашему совершенно окоченевшему, отекшему, до крови исцарапанному телу. — И затем добавила несколько мягче: — Немало меня удивляет, как у вас хватает силы приходить сюда по бесконечным улицам. Почему вы не скажете, чтобы прислали за вами носилки или колымагу? А я об этом и не подумала.

Инульций поднял глаза к небу и еще блаженнее улыбнулся. Скоро ему уже не будут нужны ни носилки, ни колымага, он не будет тяжелой поступью влачиться по жесткой земле. Но он промолчал.

Флавией овладела злоба.

«Ты делаешь мне назло», — подумала она и кликнула Квидона.

— Крепче привяжи веревки! Разве ты не видишь, что они ослабли?.. Туже, туже! — в лихорадочном возбуждении крикнула Флавия, заметив выражение телесного страдания на лице Инульция, у которого на руках и ногах выступила кровь.

Хищные искры сверкнули в ее жестоких звериных глазах при виде этой крови. Она кивнула Квидону, чтобы он уходил, взяла большой венок, увитый терниями, и, поднявшись наверх по лестнице, положила его на голову Инульция. Она тяжело дышала, и, когда он взглянул на нее с бессознательным укором, она почувствовала какой-то огонь в сердце. Туман застлал ей на минуту глаза, но она превозмогла себя и придавила к его вискам жесткий терновый венок. Он весь задрожал от боли, из его уст вырвался слабый крик и струйки крови потекли по его лицу на исхудалую, обнаженную грудь. Он был смертельно бледен.

— Таким ты мне нравишься!

Она испытывала странное, нечеловеческое упоение любовью и ненавистью, гневом и болезненным восторгом и торопилась сойти с подмостков и приняться за работу. На Инульция напала слабость, его голова склонилась, и на глаза спустилась туманная, мрачная и таинственная завеса

между жизнью и смертью. Наступала агония. Донна Флавия увидела то выражение, какого нельзя встретить на лицах ни живых, ни мертвых, именно то самое, что ей было нужно. Ее сердце стучало, но руки были тверды. Она бросилась к своему Христу, и ей казалось, что из-под ее пальцев выходит чудо искусства. В мастерской царствовала гробовая тишина и среди этого глубокого молчания слышались только слабые вздохи Инульция и ее учащенное дыхание. Наконец он пришел в себя, открыл глаза и ожила.

— Боже! Что со мной?

У донны Флавии вырвалось громкое проклятие:

— Еще немного и я бы достигла цели! Зачем вы очнулись?

Она бросила стеку.

— Мадонна, мне кажется, я умираю.

Она вздрогнула и схватилась за кинжал. Первой ее мыслью было броситься — разрезать веревки и освободить его. Она уже вскочила на помост.

Он смотрел на нее блуждающим взором, мысли его путались, и он подумал, что она хочет его убить.

— Да, — глухо проговорил он, — вы правы. Моя жизнь ни к чему не пригодна и, если вы пронзите мое сердце, то увидите то, чего искали, и моя жертва не будет напрасной.

Она чувствовала в своих жилах кипящий поток, в ушах раздавался звон, а в виски точно ударяли сотни молотов. В диком восторге они крепко сжала кинжал.

— За тебя, мой народ, — прошептал Инульций, — отдаю я свою кровь! Боже, прими ее как искупление.

— Что ты лжешь! — почти крикнула Флавия, и ее обезумевшие глаза впились в его посиневшее лицо, показавшееся ей светлым.

Она отступила на шаг и взмахнула кинжалом.

Инульций вздрогнул, но, не почувствовав боли, с удивлением взглянул на Флавию, выйдя из своего полу забытья. Что-то ударило ему в голову и сжало сердце. Его охватило сожаление о потерянной жизни, об утраченной молодости, чудную красоту которой он не понял и которая теперь угасала, о своих песнях, которые умирали вместе с его серд-

цем и теперь навеки умолкнут. По его лицу скатилась крупная слеза. Но, взглянув на Флавию, он улыбнулся ей.

— Боже, прости ей.

Тень пролетела по его лицу и голова опустилась. Он умер. Кровь из раны капала тяжелыми каплями на пол, и этот глухой, странный стук, мерный, словно стук маятника, вывел Флавию из оцепенения. Она медленно сошла с помоста, как автомат подошла к своей работе и принялась за нее в лихорадочном бреду. Часы проходили, а Флавия все не чувствовала усталости, и когда солнце зашло, она докончила свое распятие. Она забыла о своей мертвой модели и ее глаза светились безграничным счастьем.

И вдруг, обернувшись в сторону Инульция, она вспомнила все. Исчезло все ее счастье и вдохновение, и появилось страшное сознание, что она убийца. Силы оставили ее, и она опустилась на пол.

Очнулась она поздно ночью. Ей казалось в темноте, что Инульций простирает к ней руки, точно ожидая ее. У нее волосы встали дыбом. Ей казалось, что она ждет поцелуя этих мертвых уст.

Она на коленях доползла до замученного Инульция и дотронулась лбом до его ноги. Мраморный холод вернул ее к действительности. Она встала, зажгла лампу и отворила дверь.

— Плацида! Квидон!

Они оба прибежали испуганные, потому что уже начинали тревожиться, почему она долго не выходит, и звук ее голоса был глух, сдавлен, словно чужой. Они смотрели на нее с ужасом. Стоя у стены, среди сумерек, со следами крови на бледном лбу от прикосновения к окровавленным ногам Инульция, Флавия походила на привидение. Увидев мертвого Инульция, они так же оцепенели и стояли без звука, без движения, как и сама Флавия. Наконец она пришла в себя.

— Унесите его, — глохо сказала она.

— Ты убила его? — спросила Плацида.

Флавия кивнула головой.

— Да простит мне Господь Бог, — сказала она через ми-

нуту.

— Ты говоришь о Боге? — спросила с удивлением Плацида. — Ты, стало быть, начинаешь в Него верить?

— Я не могла иначе закончить свою работу, — уклончиво отвечала Флавия. Через минуту она прибавила: — А он умер счастливым.

Она закрыла лицо.

— Я знала, что мне когда-нибудь — раньше или позже — придется бросить его в этот подвал, — проговорила сама себе, с грустной улыбкой, Плацида. Потом сказала тихо плачущему Квидону: — Отнесем его, пока есть время и никто не подозревает убийства — вы же, мадонна, светите.

Они вынесли мертвого Инульция, потом — крест, обагренный его кровью, спустили свою ношу по лестнице, и Флавия, поставив лампу, подняла тяжелую опускную дверь подвала. То был казавшийся бездонным колодец, оставшийся от какой-то старинной постройки, выбитый в скале; к нему вела крутая, ветхая и скользкая лестница. Идти по ней было небезопасно. Плацида и Квидон с трудом донесли к пропасти труп и опустили его туда. В глубокой тьме разнесся такой странный и страшный звук, что Флавия, Плацида и Квидон долго стояли окаменелые, и когда, взглянув друг на друга, увидали на посиневшем лице соседа выражение беспредельного страха — они в испуге отскочили друг от друга.

Никто не вспомнил об Инульции, никто о нем не спрашивал, никто не искал его, и донна Флавия как будто могла спать спокойно. Только Плацида задумалась, видя ее по-прежнему спокойной, без тени сожаления, с улыбкой на лице.

— Горе ей, — сказала она Квидону. — Я не доверяю этому спокойствию. Увидишь, что она пропадет от отчаяния.

Донна Флавия отдала высечь из мрамора свое распятие, а над лицом Христа работала усердно сама. И когда все было готово — Распятие отвезли в пышный дворец дона Бальтазара. Слава донны Флавии разнеслась по всей Праге. Дон Бальтазар устроил большое торжество в своем доме, а донне Флавии поднесли золотой венок. Она держала его в руке, устремив глаза на лик мраморного Христа, который был создан ее руками, и из ее глаз выкатились две большие крупные слезы. Домой она вернулась грустной и бледной.

Плацида, войдя в мастерскую, взяла у нее из рук золотой венок и возложила ей на голову.

— Ты выше Проперции де Росси, — сказала она ей. — Ты превзошла ее.

— Проперция де Росси! — воскликнула со страстью Флавия. — О, как она была счастлива и как я несчастна! — Она закрыла покрывалом лицо. — Ее обессмертила любовь, а я ее убила!

— Молчи! — строго сказала Плацида и положила на уста руку. — Молчи, — и забудь.

Флавия опять казалась спокойной, сняла со своей головы золотой венок и подала его Плациде.

— Поди и брось этот венок за ним в подвал.

— Ты с ума сошла! — сказала Плацида.

— Ступай и повинуйся, — приказала Флавия так, что ста-руха не осмелилась возражать.

Когда же вернулась в мастерскую — барельеф Проперции де Росси лежал на полу разбитый, а на его месте она увидела донну Флавию, которая повесилась на своем поясе.

В ту же ночь Распятие исчезло из молельни дона Бальтазара, темная душа которого не встрепенулась бы и при виде Самого живого Спасителя. Оно очутилось таинственным образом в костеле, который посещался больше всего пражской беднотой. Это происшествие в связи с вестью о самоубийстве донны Флавии наделало много шума по всему kraю. Но Плацида все рассказала. Она подняла крышку подвала, и Квидон, спустившись вниз, вынес бренные остан-

ки несчастного Инульция, вместе с золотым венком, брошенным за ним в могилу.

Когда бедная погребальная процессия с гробом Инульция двигалась по пражским улицам в сопровождении простого народа, произошло нечто поистине удивительное: по всему пути множество бедных и убогих склоняли головы к земле и в непонятном молитвенном исступлении простирали руки, к немалому удивлению разодетых панов на конях и в позолоченных колымагах, которые, случайно увидав это зрелище, расспрашивали о причине такого необыкновенного почтения и восторженного поклонения.

Один гордый итальянский кардинал, проживавший в Праге, был очень недоволен, когда коленопреклоненная толпа задержала его пышную колымагу. Он только что собирался излить свой гнев, как из близстоявшего низенького домика вышел смиренный ксендз, простой и бедный, приносивший беднякам утешение и помощь. Как только глаза его увидали гроб Инульция, он простер руки, просиял, упал на колени и преклонил голову. Кардинал нетерпеливо выскочил из колымаги, подошел к нему и дотронулся рукой до его плеча.

— Почему вы опустились на колени и что означает это ваше великое почтение? — спросил он строго.

Ксендз взглянул на блестящего, разодетого в пурпур и шелк прелата.

— Да разве вы не видите? — удивился он и, отвернувшись от сверкающего креста на золотой цепи, который блестел на груди кардинала, опять устремил восторженный взор на гроб.

— Я ничего не вижу, кроме бедных похорон какого-то нищего. Кто это был? — спросил кардинал.

— Не знаю, — отвечал ксендз, — но наверняка избран-

ник Божий. Разве вы не видите, что перед гробом шествует царь Давид с арфой в руке, а за ним Спаситель, босой и с терновым венцом на голове?

И смиренный ксендз склонился челом до земли.

Могли ли это видеть гордецы, упоенные своей пустой славой? Не для них, а для несчастных и отверженных, для печальных и угнетенных, для простых и бедных пришел Христос основать свое царство, не имеющее ничего общего с могуществом и властью, царствующими здесь на земле. Тем, кого считают в этом мире последними, Спаситель является иногда для утешения Свое кроткое, измученное лицо, свет которого яснее света солнца.

ТЕРЕЗА МАНФРЕДИ

Пер. В. П. Глебовой

*L'étranger te voyant mourante, échevelée,
Demande: «Qu'as-tu donc, ô femme désolée?»*

A. Chénier*

О, дорогой мой друг и маэстро, с каким взволнованным сердцем я тебе сегодня пишу! Перо выпадает у меня из рук, но не остается ничего другого, как все рассказать. Я обещал это и тебе, и Бенедикту, — и обещание должно быть исполнено. Сообщенное тобою известие об успехе картины Бенедикта в Парижском салоне для меня то же, что удар кинжала. Кто знает, не последнее ли это его произведение? Кто может поручиться в том, что он оправится от тяжелого душевного недуга, который его сразил благодаря одному происшествию, тесно связанному с этой картиной? Если он умрет или окончательно заболеет, как быстро забудется его имя!.. Десять-двенадцать лет работы — и слава Бенедикта упрочилась бы, и его произведения стояли бы, может быть — целое столетие, наряду с лучшими; если он не поправится, его через несколько лет забудут. Но не все ли равно? Разве у человека меньше болит сердце оттого, что он обеспечил себе посмертную славу? О, дорогой мой маэстро, как ты добр, раскрывая и свои объятия, и свой дом несчастному Бенедикту и не обращая внимания на то, что покой и тишина твоего уединения в Пасси будут нарушены вздохами и криками его измученного сердца. Прости, что я говорю о твоей доброте, ты никогда не желаешь похвал, — я молчу. Ведь если бы мне пришлось оценить это словами, у меня не хватило бы красноречия. То, что я тебе сегодня пишу о Бенедикте, не должно быть ни жалобой, ни защитой, это будет простым описанием прошедшего, настолько объективным, насколько это мне удастся. В последний раз ты упрекнул меня в том,

* «И вопрошают гость с сочувствием во взоре: / «О, женщина, скажи, в каком ты страшном горе?». А. Шенье (пер. М. Зенкевича).

что я резко отозвался о своем товарище. Но я не имел ни малейшего представления о происходящем, не мог, не смел писать тебе об этом, и ты подозревал меня как будто в том, что во мне говорит какая-то зависть художника к более одаренному Бенедикту. Мне было тяжело видеть эту несправедливость. Я признавал всегда, без всякой горечи, его более блестящие способности, чем мои, и, поверь, что мне незнакомо чувство зависти. Я работаю, потому что люблю свое дело, и я был всегда благодарен за тот маленький талант, который был мне дан в награду за мое прямо безобразное лицо. Я благодарю Бога и за это безобразие; я был бы, может быть, менее покорен на том месте, которое я занимаю в качестве художника, если б мое безобразие не научило меня покорности. Теперь позволь мне приступить к рассказу.

Вернувшись из Скандинавии в Прагу, я, как ты себе это легко можешь представить, прежде всего отправился в Градчин, к Бенедикту. Я стремился к нему всем сердцем, и мне не терпелось осмотреть его новую мастерскую, о которой он мне восторженно говорил в своих письмах. И, действительно, она заслуживала всяких похвал. Мастерская находилась в бывшем, теперь очень заброшенном дворце. Я вошел через длинный темный проезд во двор, выложенный шиферными плитами, которые нынешний владелец, по своей отсталости и глупости, начисто «выбелил», и теперь это место прежней аристократической славы выглядывало на свет Божий из-под этой мещанской банальности, а посреди буйной травы разбитый фонтан оплакивал усмиренную гордыню прошлых времен. Я дошел через красивый каменный портал до узкой лестницы, высокие ступени которой были вытесаны из такого твердого камня, что они пережили вандализм нескольких столетий. Быть может, по ним когда-нибудь лилась кровь, может быть, темная лестница оглашалась дикими боевыми криками, кто знает? Покрывавшая ее грязь ни о чем не говорила. Лестница круто поднималась наверх, до самых дверей моего товарища. Помещение, которое Бенедикт преобразил в мастерскую, носило отпечаток более поздней поры: стены были покрыты

виртуозно исполненными гирляндами и фестонами из плодов и цветов; все эти раковины, амуры и изображения цесарей и богинь говорили в своей яркой живописности о времени Людовика Пятнадцатого. Огромное окно, прорубленное среди совершенно испорченной живописи, заливало мастерскую целыми потоками северного света, а тяжелая занавесь напротив входа, казалось, закрывала другое. После первых рукопожатий, я внимательно все осмотрел, и между тем, как Бенедикт объяснял, что его мастерская служила когда-то домашним театром, я отдернул занавесь. Я угадал: я стоял перед окном, которое доходило до самого пола, и нельзя было себе представить более чарующего вида, не жели тот, который открывался на целый ряд черных крыш, гордых башен и величественных куполов с несравненным Петршином позади, поросшим лесом, и серебристой рекой вдали. Вид Праги всегда вызывает у меня восторг, и эта удивительная картина нисколько не теряла оттого, что была не нова. Я хотел вступить на широкий выступ перед окном, чтобы насладиться еще более обширным видом, как испуганный Бенедикт потянул меня назад.

— Ты ненасытный! — сказал он мне.

— Человек трудится в поте лица во фьордах, — начал я декламировать, — немилосердно надрывает свою грудную клетку на этих страшных тележках, называемых *Stolkärren* (добродушные норвежцы некрасивую вещь называют некрасивым именем), и нечто, подобное этой картине, — оставить без внимания!

— Неужели ты здесь намереваешься петь противную песнь о чужих делах! — ужаснулся Бенедикт. — И я, безумец, еще помешал тебе вылететь из окна вместо того, чтобы по-приятельски помочь. Сохрани, мой друг, свою проповедь для какого-нибудь эстетического часа, а мне расскажи лучше о своих приключениях.

Тут я опять рассмеялся.

— Ты, стало быть, еще веришь в такую фантастическую вещь, которую называют приключением? Ты, без сомнения, также веришь в существование единорога, правда?

Бенедикт раскрыл, между тем, мой портфель, который

я с собой принес и который я только что бросил куда-то.

— Боже мой! — воскликнул он с действительным воссторгом. — Откуда ты взял этот этюд?

Я взглянул. Это был небрежно сделанный набросок одного уголка в нескольких милях от Йёнчёпинга. Чисто шведская природа: большая расщелина, поросшая частью хвойным лесом, обломки седого гранита, разбросанные то тут, то там, позади березовый лес, а над всем пейзажем тянулся до бесконечности безграничный горизонт. Настроение вечернее, расщелина курилась и голубой дым расстипался до самого леса, как оссиановские тени. Я мгновенно забыл Прагу, которая сверкала передо мной в лучах солнца, и всей душой стосковался опять по этой шведской пустыне; я глубоко вздохнул.

— Ага, мне кажется, что у тебя все-таки было какое-то приключение, — дразнил меня Бенедикт, — и этот пейзаж был, вероятно, местом действия очень интересного приключения...

— Уверяю тебя, я забыл, — отвечал я, — что случилось, когда я рисовал этот этюд.

— Расскажи, — приставал Бенедикт.

— Ты жестоко ошибаешься, мой милый, тут не было никакого приключения, а просто встреча, но ты имеешь с этим известное соотношение. Я именно здесь, напротив этого леса, случайно встретился с одним страстным, восторженным дилетантом. Самым большим проклятием нашего времени являются, наряду с целыми полчищами английских путешественников, рисующие и малюющие дилетанты. Мой дилетант был граф и соотечественник, и, разумеется, добродушный малый почти не говорил на родном языке. Вот его карточка. Шли мы вместе от Йёнчёпинга до Хабо пешком в продолжение целого дня, потому что мимоходом набрасывали эскизы рощиц. Граф искренне восхищался мною, хотя и признался мне, что не понимает, почему я путешествую по Швеции. Его призывали туда какие-то дела, но он был немного разочарован, так как иначе представлял себе Швецию; по его мнению, тут не было мотивов для хорошей картины. Он показал мне свой портфель, этюды Швейцарии:

одни Альпы, в розовом освещении и с голубыми, как слива, тенями. Его ледники были настоящие миндальные пудинги, политые сиропом. А впрочем, как я тебе и сказал, это был добрый малый. У него тут в Праге невеста; живет она с отцом в его дворце. Будущий его тесть — чешский шляхтич с итальянской фамилией — без всяких средств, мать невесты была горожанка. Граф никогда не живет в Праге и отдал внаймы князю, то есть своему будущему тестю, свой дом. Если хочешь, мы поедем завтра к нему.

— Мы? — удивился Бенедикт. — Что там делать?

— Граф сказал мне, что в его дворце есть, как говорят, старинные попорченные фрески. Он желает, чтобы я осмотрел их, а ты, о котором я ему рассказывал, должен их реставрировать. Граф, на основании моих слов, так безгранично поклоняется тебе, что желает, чтобы ты написал портрет его невесты. Я уже писал ее отцу, который нас ждет; я сам послал ему письмо из Христиании, где мы расстались с графом и я обещал ему, немедленно по приезде, навестить княжну, его невесту. Он говорил, что она так же обожает искусство, как и он сам. Говоря по правде, мое обещание меня тяготит. Я не враг аристократии. Она прямо идеал в сравнении с нашей напыщенной буржуазией и смешным самомнением наших милых сотоварищей, но я не чувствую себя свободным в светском обществе. У нашей знати нет вдохновения, она не чувствует красоты, она не понимает художества, — одним словом, это не аристократия времен Возрождения. Конечно, и мы не ровня художникам той поры, и, говоря беспристрастно об аристократии духа и рода, мы оба одинаково низко опустились. А кстати, ты знаешь дворец графа?

— Да, — отвечал Бенедикт и подошел к большому окну. — Видишь ли там этот высокий щит? Это только в нескольких домах отсюда; человек мог бы по гребням остроконечных крыш быстро дойти до самого дворца, если бы был так же легок, как голубь или, по крайней мере, как кошка. Видишь ли, как эта дорога извивается, какие она делает изгибы вон там, в двух шагах от террасы, за монастырем барнабиток, потом она прямо бежит ко дворцу. Не раз думал я

о том, что можно бы, рискуя жизнью, свободно дойти до той террасы в доме непорочных дев.

Бенедикт громко рассмеялся; в эту минуту кто-то позвонил, сначала робко и сейчас же, вслед за тем, очень громко. Я отворил, и в мастерскую проскользнула высокая стройная девушка в простом темном платье. Ее красота не имела ничего общего с греческой, но она очень напоминала египетских богинь, так мастерски вытесанных по стенам храмов и гробниц. И действительно, ее профиль, с этим низким красивым лбом, с тонким, немного загнутым носом, с полными губами и коротким, крепким, закругленным подбородком был так хорошо очерчен, точно его рисовал один из лучших художников самой блестящей фиванской эпохи. В выражении ее лица было что-то детское и вместе с тем серьезное, оно с первого взгляда поражало, но ее удивительная красота проявилась в полном блеске только тогда, когда она подняла опущенные глаза. Под черными, почти сходящимися у носа бровями светились мечтательные продолговатые темно-серые глаза, загадочные и своеобразные, полные очарования и прелести. Они были так же глубоки, как небо. Все ее существо дышало каким-то тихим благодатством, движения были удивительно привлекательны, точно цветы, дрожащие от ветерка.

— Что вам угодно? — спросил Бенедикт с той немного циничной усмешкой, которая так часто безобразила его лицо.

— Я узнала, что вам нужна модель, и я думала... — заикалась она; ее бледное лицо стало еще бледнее, а его улыбка еще оскорбительнее. Для меня эта сцена была так мучительна, что я схватил свою шляпу.

— Бенедикт, — сказал я, — мне кажется, что панна передо мною стесняется. Я пойду в кофейню, так как еще не завтракал, и буду дожидаться тебя там.

Мне показалось, что от этих слов девушке несколько полегчало. Я поклонился ей, и она посмотрела на меня почти благодарным взглядом своих темно-серых глаз. Я настолько быстро спускался вниз по крутой лестнице, насколько мне позволяли это мои длинные неуклюжие ноги,

и вспомнил как-то мимоходом, и со вздохом, почему — сам не знаю, о своем некрасивом лице; думать о своей красоте было совершенно не в моем обыкновении. Очутившись на дворе, я припомнил, что не сказал Бенедикту, в какую кофейню пойду. Возвращаться мне не хотелось, и я оперся о полуразрушенный фонтан с намерением подождать друга. В глубине своего сердца я признался самому себе, что рад подождать, — я был уверен, что еще раз увижу эти удивительные, мечтательные, серьезные и вместе с тем детские глаза. Я начал мечтать, думать об их сером блеске... Понемногу мне стало казаться, что все красивые линии испорченного гранита стали выделяться на свету, мне казалось, что серебряная струя фонтана высоко била, до самых верхушек несуществующих деревьев, что из окон дома выглядывают златокудрые пажи, в залах и галереях с высокими сводами сладко раздаются давно умолкнувшие звуки мандолин, вдоль стройных колонн медленно шла со спокойным достоинством высокая фигура... Ее шелковый шлейф шуршал по гладким плитам, ее мягкие волосы блестели на солнце, на длинной белой шее висели дорогие жемчуга, а под черными, почти сросшимися у тонкого носа бровями светились ясные темно-серые глаза...

Не знаю, как долго продолжался мой сон; я очнулся, когда за мной раздались быстрые легкие шаги по крутой лестнице, и через минуту около меня пробежала девушка, о которой я мечтал. Она была смущена и не заметила меня. Она спешила. Она прошла быстрыми шагами через двор, скрылась в тени темного проезда, потом ее стройная фигура еще раз удивительно отчетливо вырисовалась на золотом фоне солнечного света перед домом, а затем исчезла. Должен ли был я пуститься за ней? Да и зачем? Прежде, чем я мог ответить на вопрос, я увидал и услыхал на лестнице Бенедикта. Он был, как всегда, весел и насвистывал.

— Что случилось? Что с этой девушкой? — быстро спросил я его.

— Ничего не случилось, — усмехнулся Бенедикт, спокойно покручивая усы. — Эта молодая дама предложила мне свою любовь, а я ее отверг.

— Предложила свою любовь? — повторил я медленно за ним, пораженный и с тяжелым сердцем, и потом прибавил немного резко: — А ты отверг ее? Ведь ты никогда не бываешь бесчувственным! О, совершенно наоборот!

— Правда, — смеялся Бенедикт, — и до сих пор я им не был. Подожди, пока ты не увидишь прекрасную Виоланту. С тех пор, как я полюбил ее, никакая другая женщина не кажется мне красивой. Рубенс никогда не рисовал более пышных форм, более розовой кожи, более золотых волос, никогда не рисовал грудь...

— Довольно, довольно твоих песнопений, ты знаешь, краски Рубенса всегда оставляли меня холодным.

— Да, я знаю, что для тебя или Святая из Фьеэоле, так сказать, с окончательно белыми глазами, где зрачок обозначен лишь по необходимости, или альмей с глазами, полными мистического наслаждения Востока, или с темным жаром Испании. Удивительно только, как ты ухитряешься любить эти крайности.

— Я люблю также глаза, похожие на те, которые светятся под темными бровями той девушки, которая, как ты сказал, предложила тебе свою любовь, — сказал я скорее самому себе, чем Бенедикту.

Тот всплеснул руками.

— Ты ревнуешь! — Он громко рассмеялся. — Какое странное ударение кладешь ты на свое недоумевающее «сказал». Тебя очаровала эта девушка? Это действительно не стоит такого волнения: приобрести ее любовь будет очень нетрудно. Послушай, как я с ней познакомился. Не знаю, как давно тому назад, я отправился вечером прогуляться на Петршин. Было там, как всегда, пусто и безлюдно, я был в дурном расположении духа, потому что Виоланта уехала на два дня из Праги; я подозревал, что она не одна уехала. Я разыгрывал несчастного влюбленного, вздыхал, сентиментально смотрел на золотые облачка, слушал шелест деревьев и плыл с надутыми парусами по волнам лиризма. В эту минуту я услыхал легкий вздох и увидел под деревьями девушку, сидящую на низкой скамейке. Я не разглядел вполне отчетливо черт ее лица, но она показалась мне мо-

лодой и красивой... Отомстить за неверность Виоланты неверностью показалось мне мыслью такой же счастливой, как и логичной.

Девушка была одна; я подошел к ней и воскликнул таким глубоким, таким взволнованным голосом, каким только мог: «Наконец, о, наконец-то я тебя нашел! Напрасно искал я тебя, никто не мог сказать мне, где ты. Как давно жаждал я того мгновения, когда мне будет позволено воскликнуть: «Я люблю тебя, люблю от всей полноты моей юношеской души, люблю...»» Будь она хоть два раза в жизни в театре, она бы немедленно громко рассмеялась, подумал я, тогда я погиб, она меня высмеет. В эту минуту от ближнего маленьского костела, не знаю, во имя какого святого, раздался голос. Не знаю, какое будничное женское имя произнес этот голос, но девушка вскочила, точно пробудившись от сна. Я быстро отступил в тень, и какой-то пожилой господин подошел к скамейке. «Уже отворили», — сказал он, и девушка взяла его под руку. Он повел ее в костел, двери которого только что отворялись. Девушка меня больше не интересовала, хотя ее поведение меня немного удивило, потому что в нем, в ее движении, было что-то странное. Я ушел и через полчаса совершенно забыл об этом смешном приключении. И я только теперь снова вспомнил об этой маленькой комедии, во время посещения этой девушки, которое на меня нагоняет скуку, а тебя занимает. Я не сразу узнал ее, хотя она и казалась мне немного знакомой; когда же она начала: «Видите, я была счастливее вас, я вас нашла», — тогда только я догадался, о чем идет речь. «Я хотела вам написать, — продолжала девушка, — но мне хотелось видеть ваше удивление».

Я постарался тогда раскрыть рот, чтобы выразить этим желанное удивление, но это скорее имело вид чего-то глупого. Однако, девушка не заметила этого. «Повтори эти слова, повтори», — шептала она и опять наполовину закрыла глаза, как в тот раз на Петршине. Я не мог дольше удержаться от смеха. «Эти слова давно мною забыты, глупенькая, — проговорил я и взял ее за подбородок. — И вы приняли это за правду! Жаль, что я люблю другую. Ваша наив-

ность прелестна и заслуживала бы взаимность. Впрочем, у моей возлюбленной каприз, она разгневалась на меня, и потому я всегда рад полюбить другую. Но я не советовал бы вам с нею встретиться. Я запишу ваш адрес; вы, действительно, красивого роста...» Я взял ее за руку.

— Какая грубость! — вспылил я.

— Но как же было избавиться от нее, если не таким способом? — засмеялся Бенедикт. — Впрочем, я не думаю, что окончательно отделался от нее; она не так наивна, как представляется. Наверное, опять явится завтра, и тогда я пошлю ее к тебе. Виоланта ревнива, она не позволит мне иметь другую модель, кроме своей прекрасной особы. Кроме того, для моей «Вакханки» я не мог бы и найти лучшую, чем она. И ты ее увидишь!

— Кто же, черт побери, эта Виоланта?

— Ты этого не знаешь? — удивился он. — Это живая картина Рубенса. Виоланта будет певицей. У нее посредственный голос, и она это знает, но ей все-таки хочется на сцену. Это лучший путь добиться известности и поклонников, а этого только Виоланта и хочет. Она уже нашла необычайно богатого мецената, и такого глупого, что он верит в ее призвание, в ее способности и принимает ее любовь к художникам за любовь к искусству. У мецената ревнивая жена, и он не может достаточно стеречь Виоланту, так как его самого слишком хорошо стерегут. Можешь себе представить, как мы с Виолантой смеемся. Я так счастлив, она меня страстно любит. Это я нашел для нее имя Виоланты, теперь оно уже всеми принято, даже самим меценатом. Больше тебе ничего не скажу. Приходи ко мне сегодня вечером, ты ее увидишь; она созвала нескольких из наших друзей в мою мастерскую на маленькую пирушку, и, конечно, как моего друга, тебя радушно встретит.

Я обещал прийти, и мы расстались.

Я ненавидел эту Виоланту прежде, чем увидал ее, ненавидел ее за то влияние, которое она имела на Бенедикта. До сих пор, дорогой маэстро, я не сказал тебе ни слова о работе, которую я видел утром в мастерской Бенедикта; он рисовал вакханку, и Виоланта служила ему не только мо-

делью, но и внущила ему всю картину. Я испугался этой картины. Где было изящество лица, где было вдохновение, которым я всегда любовался у Бенедикта? Бенедикт разучился понимать и рисовать голое тело, разучился смотреть на него, голое тело не было больше для него чудным и возвышенным гимном, да оно не говорило больше и чувству, нагота этой вакханки была одной пошлостью!

Это мягкое, рыхлое тело, без гармонии, без грации, тучное и розовое, без души и без духа, было гнусно в своей дерзости, оно напоминало то сырое брение, из которого по библейскому преданию Бог сотворил человека. И эта женщина была, по его словам, той прославленной Виолантой, о которой он постоянно мечтал!

Я решил, что на вечер к Бенедикту не пойду, но потом вспомнил, что это оскорбило бы его, и пошел.

Было уже около одиннадцати часов, когда я очутился у разрушенного фонтана перед кругой лестницей; смех и веселье пирующих слабо доносились вниз, до пустынного, освещенного месяцем двора. Я медленно поднимался и остановился незамеченный в тени, около двери, откуда мог осмотреть всю превращенную из мастерской залу пиршества. Посреди стоял длинный низкий стол, на котором горело несколько майоликовых римских ламп с тремя светильниками; их свет падал на белую скатерть, он играл в сверкающих графинах и рюмках, он освещал остатки вина, груды плодов, большие букеты в хрустальных вазах, оставляя все прочее пространство в глубокой тени. Над столом поднимался легкий дым от чада ламп и голубой дымок от папирос. С потолка спускались красивые фестоны пестрых цветов, они были протянуты от колонны к колонне, а сухие пальмовые и акантовые листы, размещенные по стенам, казались резкими бронзовыми орнаментами. Бледные маски осклаблялись в полумраке, расставленные то тут, то там, этюды в естественную величину выделялись в своей чувственной наготе из тьмы, а через раскрытое большое окно зеленела лунная ночь, развернув свое серебряное покрывало над смесью гребней, крыш, башен и шпицев. В комнате было шумно. Виоланта возлежала на импровизированном

троне, покрытом куском старого гобелена, одетая в богатую и безвкусную одежду. Она была тучная, розовая, дерзкая, без грации, как вакханка Бенедикта. Ее красивые золотые волосы были распущены и переплетены венком из плюща. Она пила вино из стакана, смеялась, как мужчина, и курила не папиросу, а сигарету. Она была грустна. Гости забавлялись тем, что бросали в нее конфеты и миндаль, а Виоланта отвечала им более тяжеловесной стрельбой апельсинов, а ближайших обрызгивала вином.

— Придумайте что-нибудь новое. Это меня больше не забавляет, — кричала она хриплым голосом.

— Да, что-нибудь хорошее! — воскликнул Бенедикт.

— У меня есть что-то хорошее, пришло оно издалека, — сказал со смехом один молодой скульптор и указал на меня; он увидел меня у двери. Все оглянулись на меня, и при первом взгляде на мое безобразное лицо громко рассмеялись.

— Ах, ах, — восклицала Виоланта, — вот это удачно, я умру от смеха!

Я смеялся вместе с другими. Они поздоровались со мной, и меня представили Виоланте. Виоланта при первом же взгляде увидала, как я мало восторгаюсь ею, и перестала смеяться.

— Расскажи, что ты видел, что ты пережил, сколько раз был влюблен! — закричали со всех сторон.

— Придумайте какое-нибудь наказание, — предложил другой, — за то, что он так поздно пришел.

— Пусть трижды поцелует Виоланту, — предложил кто-то, заметив нашу взаимную антипатию.

— Ого, — защищалась Виоланта с иронической улыбкой, и подняла с угрозой апельсин.

— Я знаю — что, — предложил молодой скульптор, который заставил перед тем все общество рассмеяться. — Нам поздно пришедший товарищ быстро набросает, пока мы пропоем какую-нибудь песенку, образ той, о которой он так сильно грезил, раз забыл о нас. И мы тогда только придумаем какое-нибудь неслыханное мучение, если она будет недостаточно красива!

Предложение было единогласно принято. Прикрепили три листа бумаги на пустой подрамник, подали уголь и начали петь. Я сопротивлялся, но должен был, наконец, уступить. Не знаю, как это случилось, но я вспомнил об одной гравюре, которая тебе также известна; она изготовлена с барельефа, находящегося на стене какой-то развалины в Гебель эс-Сильсиле, и изображает прекрасную группу, полную неги и грации: богиня Гатор кормит грудью молодого царя Горуса, не знаю, из какой династии. Я придал богине черты, девический профиль молодой девушки, которую я видел утром в мастерской, и постарался наивозможно точнее изобразить контуры ее прелестного девичьего тела. Мне кажется, что это мне удалось, потому что песня вдруг смолкла, и за мной раздались отдельные восторженные взглясы. Я взглянул сам на свой рисунок, и как раз в эту минуту над моей головой что-то прошумело, ударилось в лицо Гатор и разорвало рисунок. Виоланта бросила в него апельсином. Она объявила, что кормящая женщина — верх не-приличия.

Поднялся невыразимый шум и крик.

— Это — убийство! — восклицали. — Виоланта убила египетскую мадонну!

— Она должна заплатить за это своей кровью!

— Смерть Виоланте, смерть!

— Да, Виоланта будет подвергнута смертной казни! — кричал во все горло молодой скульптор. — И ты будешь плачом, — обратился он ко мне.

Виоланта заткнула уши и слышать об этом не хотела, но ее стокнули с трона и крепко завязали глаза.

— Положите, прекрасная грешница, голову на эту подушку, — приказал Бенедикт, — я сам прочту ваш приговор; потом вам дадут пять минут для молитвы, и голова ваша отлетит.

Посреди его речи, по данному знаку, начали тушить лампы. Виоланта была большая трусиха, как мне щепнули товарищи; все должны были один за другим выйти из темной комнаты; и когда Виоланта сбросит с головы платок, она очутится одна в темноте.

— Теперьтише, — приказал Бенедикт. Все смолкли, и Бенедикт импровизировал приговор; посреди его речи все тихо вышли из комнаты, горела одна только лампа, и ее я должен был, как последний, унести. Бенедикт воскликнул глухим голосом: — Еще пять минут, и последует казнь! — после чего он вышел.

Я взял лампу и очень был рад окончанию этой нелепой комедии. Я стоял совсем против раскрытоого окна, и мой взор случайно упал туда... Я так задрожал, что едва не выронил лампу. Там, залитая зеленым светом, стояла прекрасная тень девушки, о которой я целый день думал. Ее высокую, стройную фигуру окутывала легкая белая одежда, темно-каштановые волосы были завязаны черной лентой, чтобы они не рассыпались, белый низкий лоб блестел, как мрамор, а серые странные глаза были наполовину закрыты. Руки были крестообразно сложены на груди, и на их тонких сгибаах сверкали золотые браслеты. Она возносилась, как белое облако, и стояла на подоконнике, подняв бледное грустное лицо к небу, как в тот раз, на Петршине, под деревьями, когда Бенедикт так легкомысленно объяснился ей в любви. Здесь, где шум оргии на минуту смолк, среди дыма сигарет и чада ламп, она величественно стояла, как воплощение поэзии лунной ночи. Но это было невозможно, я — несомненно — ошибался! Как могла она прийти сюда, как могла она без головокружения стоять на этом подоконнике, над пропастью! Я закрыл глаза; когда я их открыл — видение все еще было там.

— Это невозможно, — снова прошептал я. В ту же минуту Виоланта упала к моим ногам, бледная, как смерть. Она сбросила платок с глаз, ее взор упал на окно, и она увидала там белый призрак. Я поднял ее и положил на gobelen, покрывавший ее трон; затем двери отворились, и общество, удивленное долгой тишиной, вернулось в комнату. Я быстро взглянул на окно — видение исчезло.

— Прочь отсюда, прочь! — кричала Виоланта, опомнившись.

— Ради самого Бога, что случилось? — спросил Бенедикт, увидав ее бледность.

— Пусть кто-нибудь затворит окно! Это было ужасно! — рыдала она. — Я видела дух. Там, там стоял он, это была женщина, бледная, как смерть, с опущенными глазами!

Не было конца смеху. Я же пробрался к окну и взглянул на эту торжественно тихую, прекрасную ночь: как она была задумчива, о, как задумчива! А вдали, за высоким фронтом соседнего дома, поднималось что-то, похожее на белую прозрачную тень, которая скоро исчезла. Я закрыл окно занавеской и вернулся к столу. Виоланта плакала, оттого что ей никто не верил.

— Я видела, совершенно отчетливо видела, — настаивала она. — Я хочу прочь отсюда. Я умерла бы со страха.

Она подняла свои чудные волосы, спрятала их под ярко-розовую шляпку и взяла под руку Бенедикта, который ее увел. Я остался с обществом еще на минуту.

— Что ты скажешь о Виоланте? — спросили меня.

Я пожал плечами.

— Я думаю, что твоей красоты она испугалась при лунном свете, — начал шутить один из присутствующих. Потом разговор зашел о другом, и я ушел. Это все было очень странно: там, за окном, что-нибудь да было, если это видеила и Виоланта...

Я спускался по крутой лестнице, погруженный в размышления. Смех пирующих долетал до самого двора, залитого лунным светом, и, не знаю — почему, в эту минуту, около разрушенного фонтана, я вспомнил об одной мрачной сцене из «Лукреции Борджа» Виктора Гюго, которую никогда нельзя забыть, а именно ту, где страшное *De Profundis** монахов смешивается с веселым смехом пирующих кавалеров. Какая странная мысль!

Прошло несколько дней. Для посещений у меня не было времени, и я не видел Бенедикта. Перед отъездом в Скандинавию я бросил свою мастерскую и теперь искал другую. В Праге нелегкая задача найти подходящее помещение для мастерской художника; но это мне все-таки удалось после долгих поисков, хотя переезжать я мог, как мне сказа-

* «Из глубины» (лат.). Покаянная молитва, основанная на Пс. 129/130.

ли, только через две-три недели. Бенедикт предложил мне пока рисовать у него; его мастерская была так велика, что мы, конечно, не могли один другому мешать; я с благодарностью согласился. Мы привели мастерскую в порядок, я отыскал себе угол, который мне нравился, и решил завтра же приняться за работу.

— А сегодня пойдем к князю Манфреди, — пригласил я Бенедикта, — и потом уже не будем прерывать своей работы.

— Какой это князь?

— Ты уже забыл! Это будущий тестя графа-дилетанта, с которым я познакомился в Скандинавии.

— Ах, вспомнил. Тогда пойдем. Нам недалеко.

Я взял свой портфель, и мы отправились.

Князь Манфреди встретил нас очень радушно; сказал, что вчера опять получил письмо от графа, что сегодня хотел сам меня отыскать, и благодарил, что я пришел и этим избавил его от этого путешествия. Он жаловался, что отказываются служить ноги. Он старался с восхищением говорить о художестве, но это ему не удавалось, зато он говорил с большой и настоящей любовью о своих цветах. Комната, в которой он нас принял, находились рядом с зимним садом, двери были открыты, и оттуда доносился какой-то теплый аромат. Ночи были уже очень прохладны, и пальмы, камелии и самые разнообразные цветы, имена которых мне неизвестны, стояли уже там на своих местах. Князь повел нас в эту искусственную тропическую рощу, а через стеклянную дверь своеобразным фоном рисовались фронтоны градчанских и малостранских домов. Я узнал вдали, среди этих остроконечных кровель, и чердак-барокко нашей мастерской.

— Позови княжну Терезу, — сказал князь старому слуге, который был занят в оранжерее, и снова продолжал рассказывать нам об особенностях своих мимоз,begonий и папоротников. Посреди его речи я услыхал сзади легкое шуршание платья. Князь обернулся.

— Моя дочь, — сказал он и представил нам княжну.

Не была ли это галлюцинация? Перед нами стояла блед-

ная девушка в светлой легкой одежде, пышные темно-каштановые волосы были завязаны черной лентой над низким лбом, чтобы они не рассыпались, а серые глаза грустно и удивленно глядели на нас из-под темных, почти сросшихся бровей. Это была та девушка, которая за несколько дней перед тем предложила Бенедикту свою любовь, это было то бледное видение, которое испугало Виоланту. Нельзя было ошибиться!

Бенедикт сделал два шага вперед и невольно схватил меня за руку. Мы оба были немы, я был точно во сне, и голос князя, который передавал своей дочери, что я тот самый художник, с которым ее жених познакомился в Швеции, казалось мне, выходил откуда-то издалека, из недр земли. Все кругом принимало какие-то фантастические очертания. Наконец, князь упомянул и о том, что Бенедикт, согласно желанию, выраженному женихом, начнет писать ее портрет, и вслед за тем предложил ей переговорить с Бенедиктом о костюме и о всех других подробностях.

Княжна Тереза Манфреди не произнесла еще ни одного слова, она устремила свои загадочные, полудетские глаза на Бенедикта, слегка подняла руку, где на сгибе сверкал тот же самый золотой браслет, который я заметил в тот раз при луне, в мастерской, схватила длинную ветку пальмы и притянула ее к себе. Ветка осталась спокойно в руках княжны, не задрожала. Во всей внешности молодой девушки лежал отпечаток удивительной энергии. Она обернулась вполоборота к отцу, и на ее мраморном лице вспыхнул на минуту легкий румянец.

— Ты постоянно говоришь о моем женихе, — сказала она отцу с ледяным спокойствием, — у меня нет никакого жениха.

Князь смотрел на нее с изумлением.

— Александр... — начал он с удивлением.

Княжна пожала плечами. Потом обернулась к Бенедикту, отпустила ветку пальмы, которая теперь затрепетала над ее головой, медленно подняла руку и указала на него пальцем.

— Здесь стоит человек, которого одного я любила, —

произнесла она беззвучным голосом, точно во сне. — Моя любовь была моей Святой Святых, я призналась в ней этому человеку, но он отвергнул мою любовь. Он прогнал меня с позором, я не могу больше никому другому принадлежать. Сегодня утром я написала Александру, что иду в монастыри.

Князь сделался белее полотна и, пошатываясь, опустился в кресло. Княжна Тереза стояла с минуту с опущенными глазами; она сложила руки крестообразно на груди, как в тот раз, когда она явилась мне ночью. В этом движении было столько страдальческой покорности, что оно меня глубоко тронуло. Через минуту она повернулась к двери. Бенедикт упал перед ней на колени. «Простите!» — шептал он. Она не слушала его и шла дальше; он схватил ее за легкую светлую одежду, не обращая внимания на присутствие князя. Впрочем, казалось, последний не видит и не слышит, — он пил глотками воду из стакана, который я ему подал и который случайно тут стоял.

— Почему переступили вы мой путь? — сказала теперь княжна Тереза дрожащим тихим голосом. — Без вас я прожила бы счастливо, счастливой бы умерла. Нет, я никогда бы не знала, что такое блаженство! Да, вы мне нанесли тяжелый удар, такой тяжелый, какой вы даже не подозреваете, но я все-таки благодарю вас за единое мгновение настоящего, безграничного блаженства... Знаете, в тот раз, на Петршине?.. Я спокойно жила в этом старом доме, я думала, что жизнь есть вышивание и чтение стихов, и только по временам в моей душе поднималось что-то загадочное, точно сомнение, и затем мои взоры улетали прочь от книги и вышивания, за решетку маленького окна в садовой беседке, где я так часто сиживала. Я любила эту узкую тихую уличку под окном, там нет домов, а над низкой стеной противоположного сада раскрывается горизонт в бесконечную даль... Даль, бесконечность! Как неопределенные сны, эти представления производят в дремлющей душе настоящее головокружение! Бесконечность, даль, что-то родственное с любовью, которая также вызывает головокружение...

Она на минуту умолкла, потом продолжала так:

— Однажды, когда моя душа вернулась из мира грез и мой взор, спустившись с облаков, снова упал на книгу и на траву узкой улицы, я увидала вас перед окном. День был солнечный, и в теплом воздухе кружилось бесконечное множество мотыльков. Вы стояли против меня, и мне казалось, что вы смотрите на меня с выражением удивления. Мне это было как-то странно. Безумная! Вы меня, скорее всего, не видели из-за густой решетки, и с увлечением художника любовались старинной скульптурой беседки. Я была счастлива. Меня рано обручили, и я любила жениха так же, как свои книги и вышивание. Но с этого дня я думала только о вас. Потом я долго не видала вас наяву, а только во сне; я думала о вас, как о цветке или звезде. Тут случилось однажды, что отец повел меня вечером на Петршин. Мне захотелось осмотреть там маленький костелик, которого я еще не знала, и отец пошел за ключом. Не знаю почему, но в этот раз, в сумерках, я больше обыкновенного думала о вас, и — вдруг — вы предстали предо мною... Вы говорили мне о своей любви, и долго сдерживаемая страсть вырвалась из моей души, как извержение вулкана... Какие я тогда проливала счастливые слезы в том маленьком костеле... Я лежала ничком... О, как больно...

Княжна Тереза не продолжала, она закрыла лицо обеими руками и все ее тело конвульсивно дрожало. А Бенедикт поднял к ней руки и воскликнул:

— Пощади, пощади! О, я безгранично люблю! Ведь передо мной раскрылась ваша душа, как мистический цветок, я ослеплен его небесным ароматом. О, моя проклятая слепота!

Князь, который громко всхлипывал, теперь вскочил, взбешенный.

— Вы забываетесь! — вскричал он, но княжна Тереза просила его, движением руки, успокоиться; когда она отняла от своего лица руки, я увидал, что ее глаза были сухи. Она не плакала. Я так глубоко сочувствовал ее горю, что терял сознание и боялся упасть. Теперь она раскрыла уста, и из ее дрожащих губ вырвался странный, горький и вместе с тем тихий, слабый смех.

— Теперь вы меня любите? — спросила она с гордой усмешкой. — Нет, вашему самолюбию льстит пустой звук моего имени, вот это ваша любовь. Какой роман — быть любимым княжной, какое торжество — видеть ее у своих ног, вымаливающей любовь, забывающей ради любви обо всем, даже о своем женском достоинстве! Но вы ошибаетесь, я вас больше не люблю, я вас ненавижу! Все, что я вам сказала, было только изуважения к самой себе. Вы бы никогда не узнали, кем и как вы любимы; я хотела незаметно, просто, без всяких объяснений исчезнуть с вашего горизонта. Судьба привела вас сюда. Я не могла поступить иначе. Я заблуждалась, но не сожалею о своем заблуждении. Это не моя вина, что вы не могли меня любить. Правда, тогда, на Петршине, вы на короткое время солгали, но я вас оправдываю, вы бы не позволили себе эту шутку, если бы знали, что я княжна. Кроме того, наказание мое заслуженно, — я не должна была поклоняться кумирам.

Бенедикт хотел возразить, но она не слушала его и холодно и гордо, как пришла, так теперь вышла из зимнего сада. Зато у князя вернулся дар слова. Я хотел покончить с этой тяжелой сценой; я быстро позвонил, поручил князя, который опирался на меня, старому слуге, очень удивившемуся моему звонку, потом быстро схватил свой портфель и, взяв под руку дрожащего Бенедикта, вывел его без дальнейших приключений на улицу.

Во время пути мы не проронили ни слова, а в мастерской сели каждый за свою работу, но никто из нас не сделал ни одного мазка. Вдруг Бенедикт схватил палитру и в одну минуту «Вакханка» была покрыта всеми цветами радуги; работа нескольких месяцев была в один миг уничтожена.

— Проклятая Виоланта! — вскрикнул Бенедикт. — Она смотрит на меня из каждой черты лица, из каждой части этого бесстыдного тела, без нее я никогда не был бы слеп, это ее гнусное мясо погасило во мне всякую искру искусства, чувства, разума...

Он бросился на диван, а через минуту снова заходил быстрыми шагами по комнате.

— А княжну Терезу я тоже ненавижу! — вскричал он. — Я никогда не забуду ее презрительный тон, ее взгляд, оскорбительные слова!..

И он начал плакать и божиться, что ее любит. Это все его так утомило, что я посоветовал ему лечь, довел до дома, и он послушался моего совета. Я подождал, пока он не впал в какую-то беспокойную дремоту. Потом долго бродил по улицам, почти сам того не сознавая, и когда меня встретил один старый знакомый и начал уговаривать пойти вместе в театр, я послушно позволил себя увести. Но я не знал, что играют, не заметил, когда кончили; я ушел, когда зала была, так сказать, наполовину пуста. И опять начал, в беспокойстве, бродить по пустынным улицам, не сознавая, что со мною. Вдруг я услыхал громкий смех не-приятного женского голоса: я встретил Виоланту с Бенедиктом.

— Ты встал? — спросил я с удивлением.

— Как видишь, — отвечал он заплетающимся языком, и я заметил, что он пошатывается. — Мне не удается быть долго сентиментальным, зато мне удалось вознаградить себя другим... Да здравствует наслаждение!

Они пошли дальше, и их дружный смех раздавался за мной по всей темной улице.

На другой день Бенедикт явился поздно в мастерскую, он был бледен, глаза воспалены. Он сел на пол, на персидский ковер, и не закурил, по обыкновению, папиросу. Мы не говорили. Он смотрел, как я рисую, и глубоко вздыхал. Мне было его жаль. Я раздумывал, о чем бы завести разговор. Раньше, чем мне что-нибудь пришло в голову, он сам начал:

— Это напрасно, — проговорил он, пристально глядя перед собой.

— Что — напрасно? — спросил я и положил кисть.

— Ну, подавить в себе горе, — ответил он. — Я так безобразно провел эту ночь, как никогда еще во всей своей жизни. Сказать даже не могу, что вытворял, а последствия никакого... разве только одно...

— Какое?

— Что я, настоящим образом, и уже навсегда, распрошался с Виолантой и со всеми женщинами ее круга.

Я вопросительно взглянул на него. По его лицу пролетел слабый румянец стыда, он упорно смотрел на начатый мною пейзаж и избегал моего взгляда.

— Я проявил неимоверную грубость, — признался он через минуту тихим голосом. — Виоланта после вчерашней ночи мне так опротивела, я почувствовал такой стыд, во мне пробудилось такое отчаяние в объятиях этого животного... что я... что я ее немилосердно избил.

— Позор! — вырвалось из моих уст. Бенедикт не рассердился, а только кивнул головой и молчал.

С этого дня Бенедикт очень изменился. На него напала сильная меланхолия, он чувствовал ничем не заполненную сердечную пустоту. Он не работал и мало говорил. Писал длинные послания княжне, и опять рвал их; отсыпал ли которые-нибудь из них, он на следующий день получал их обратно, а когда его почерк узнали во дворце, письма возвращались нераспечатанными. Он ходил вокруг дворца, стоял в продолжение долгих часов перед садовой беседкой, на тихой улице, поросшей травой, но княжна не показывалась ни у одного окна и никогда не выходила. Я скоро заметил, что и выражение его лица изменилось. Он был бледен, и его глаза, прежде такие веселые, горели беспокойным лихорадочным огнем; его черты лица подергивались при малейшем движении, по самому незначительному поводу, а ноздри постоянно дрожали. Бенедикт был теперь многим интереснее, чем прежде, его лицо было много одухотвореннее, нежели раньше. Если бы он работал, его работа наверняка носила бы на себе отпечаток этого приподнятого душевного настроения, но Бенедикт только сидел со сложенными руками и сто раз за день повторял: «Я люблю ее, она должна быть мою!» Он даже не подозревал, что говорит вслух. Мне иногда казалось, что он не соображает, что его уста так механически повторяют эту фразу. Его любовь к княжне сделалась для него какой-то неотвязчивой мыслью, приобрела характер какого-то своенравного упрямства.

Однажды он мне сказал:

— Я постоянно чувствую, точно меня кто-то колет раскаленным ножом, и я до тех пор не обрету покоя, пока не буду до изнеможения лобызать серые очи... Я люблю ее всей душой, но и со всем жаром чувственности. Я не понимаю иначе любовь. Я чувствую к этой девушке такую страсть, что умру, если не удовлетворю ее... Может быть, потом я и ее, как и ту, оттолкну!

Он не осмелился сказать «изобью».

Среди этой речи он вскочил, весь дрожа от волнения и сжимая кулаки. Мы поспорили, и я в тот же день переехал из его мастерской. Я целую неделю не выходил из дома, усиленно работал, и посреди работы не переставал упрекать себя за вспыльчивость к Бенедикту. Имел ли я право придавать такое значение словам, вырвавшимся в минуту такого возбуждения? Чем была, собственно говоря, для меня эта девушка? Я ее жалел, но, конечно, она была для меня ничем, ничем. При этой мысли, что она для меня ничего, я почувствовал холод в сердце. Я не выдержал дольше в комнате и выбежал на улицу. Ноги донесли меня до Бенедикта прежде, нежели я решил, что навещу его. Я нашел его у растворенного окна, «над пропастью», как мы его прежде называли. При виде меня по его лицу пробежала улыбка, он подал мне руку.

— Куда ты так пристально смотришь? — спросил я, только чтобы вообще что-нибудь сказать.

Он указал на крышу с башней.

— Если не ошибаюсь, это монастырь барнабиток?

Он кивнул головой и подал мне газету, которую держал в руке. Я прочел там, что княжна Тереза Манфреди, следуя своему призванию, поступила послушницей к барнабиткам. Хотя я этого давно ожидал, но известие меня так же поразило, как Бенедикта. Тем не менее, я постарался его утешить. Но Бенедикт строил больше прежнего самые несбыточные планы. Он был совершенно убежден, что ему удастся проникнуть в монастырь и унести Тerezу. Мне не хотелось опять с ним спорить, и потому я не возражал ему. Бенедикт сказал мне, что он уже не выходит из своей мастер-

ской; в большой нише стояла старинная кровать в стиле Ренессанс, он ее, кажется, купил однажды в Париже, и теперь спал на этом роскошном ложе. Если он ночью поднимал занавес из красивой ткани, которая висела по карнизу среди резных колонн, то видел с постели, из окна, монастырь и мог, как он сказал, до самой последней минуты мечтать о Терезе и воображать, что он ее видит в котором-нибудь из окон запертых келий.

Я боялся, что теперь любовь Бенедикта уже действительно сделается мономанией, и решил посоветоваться с каким-нибудь разумным врачом.

В это время приехал из-за границы в Прагу прежний жених княжны Терезы и зашел ко мне. Я не заметил, чтобы ее решение произвело на него сколько-нибудь сильное впечатление; он сказал мне, что уже давно подметил у своей невесты какую-то склонность к мистицизму и что его далеко не удивил ее поступок. Я скоро увидал, что он не имеет никакого представления о нашей драме. Он спросил совершенно равнодушным голосом о Бенедикте и намеревался его также навестить в его мастерской. Я испугался этой встречи и отвечал уклончиво, а когда граф, между прочим, пригласил меня отправиться с ним в имение и помочь определить, чьей кисти принадлежит старинная картина, которую нашли там в каком-то маленьком костеле, я немедленно принял его предложение, — и, делая вид, что меня необычайно интересует старинная живопись, торопил с отъездом. Мне была известна мания графа находить в каждой старой мазне какого-нибудь скрытого Паоло Веронезе, а потому я сказал ему, что я, по его описанию, предполагаю, что картина принадлежит кисти знаменитого мастера, и того было довольно для графа: мы уехали с первым поездом.

Через несколько дней я вернулся один в Прагу. Короткое пребывание в деревне оказалось на меня благотворное действие; меня оживил бодрый осенний воздух; тяжелые мысли, которые меня в последнее время мучили, исчезли, как туман перед улыбкой солнца, озаряющего широкие вспаханные поля и обнаженные леса. Я не знаю лучшего

средства при больных нервах, чем сильный аромат земли, и никакая поэзия не говорит так душе, как поэзия осени.

Не успел я въехать в город, как прежнее беспокойство вернулось. Мне казалось, что с Бенедиктом или княжной Тerezой наверняка случилось что-нибудь ужасное.

Я полетел в мастерскую, на Градчин. Я нашел Бенедикта с палитрой в руке, за работой, и был очень приятно удивлен; быстро подошел к мольберту, и удивление мое сменилось восхищением. Я увидел перед собой большую картину, уже в главных чертах набросанную и отчасти готовую. Картина в рембрандтовских полутонах изображала келью, только кое-где отчетливо вырисовывалась мебель в духе Ренессанса, залитая потоками зеленого лунного света, который вливался в келью через большое открытое окно. За окном синела и зеленела светлая ночь, полная серебряных полутеней; неопределенные очертания старых готических крыш и полумавританских башен составляли в далекой перспективе чарующий фон. Поближе к окну, в потоке лунного света возносилась с земли бледная монахиня. Ее лицо, удивительное по выражению глубокого мистицизма, чертами было точным портретом княжны Тerezы. Это была в зародышах та картина, которая теперь в Парижском салоне, под названием «Экстаз св. Тerezы», согласно твоим сообщениям, дорогой маэстро, пользуется таким громадным успехом. Я горячо обнял Бенедикта: он никогда еще не писал более вдохновенной вещи. Я был глубоко взволнован, потому что именно такою святой Тerezой видел я княжну Манфреди, когда Виоланта кричала в полуబессознательном состоянии у моих ног, что ей явился дух. Видел ли и Бенедикт это явление?

— Какая правда в твоем идеале! — сказал я ему. — Точно ты и в самом деле видел это явление не только духовным, но и телесным взором.

При этих словах я пытливо взглянул на него. Выражение его лица сделалось таинственным.

— Тебе я могу в это поверить, — сказал он через минуту, и его лицо было полно задумчивости. — Ты, наверное, не высмеешь меня. Ты, может быть, помнишь то место у

Плинния, где последний говорит о каком-то Гермотиме из Клазомен? Говорили, он достиг того, что его душа покидала тело и бродила по свету, когда только ей это заблагорассудилось, и возвращалась назад. Говорили, что у Аполлония из Тиана была та же сила. До сих пор я считал подобные рассказы простой сказкой, ведь мы, современные люди, в своем безграничном самомнении считаем половину древних писателей пустыми вральями. Ну, теперь я вижу, что и Плиний и Филострат были правы. У княжны Тerezы тоже таинственная сила — ее душа меня посетила.

Я не скрыл своего удивления, мне казалось, что Бенедикт бредит в горячке, но он совершенно спокойно продолжал дальше:

— В тот же вечер, как ты уехал с графом, я сидел вон там, на постели; занавес был отдернут, окно растворено. Я, по обыкновению, не спал, но и не думал о Тerezе, — я думал совершенно спокойно о тебе и о том, что ты теперь делаешь. В эту минуту перед раскрытым окном потемнело, и вдруг там показалось прелестное видение обоготворяемой мною девушки. Полураскрытые глаза были устремлены на небо, так, как в тот раз на Петршине; руки были протянуты вперед, точно ища во тьме путь; ни одна черта на мраморном лице не дрогнула, а легкий ветерок даже не раздувал ни черную одежду, ни прозрачное покрывало. Я тихо поднялся с кровати, волосы у меня встали дыбом, я упал на землю, освещенную лунным светом и, склонив голову на грудь, поднял к тени сложенные руки, точно к святой. Я остался на некоторое время так, погруженный в немую печаль; когда же взглянул, Тeresa исчезла. Я подошел к окну: нигде не было и следа ее; снова все было тихо и торжественно, только ветерок шептал над заснувшей Прагой... Я больше не заснул. Я был уверен, что Тeresa умерла, я был совершенно подавлен. Рано утром я поспешил в монастырь и спросил, под каким-то предлогом, о ней. Я ушел, уверенный, что она жива и здорова. Ну, что скажешь ты об этом рассказе? Ты скажешь, что я спал, и что все это мне приснилось? Была это галлюцинация? Ну, начинай же свое строгое научное объяснение. Скажи же, что это был один

обман возбужденного воображения.

— Я думаю, что это не обман, и что ты не видел это во сне, — отвечал я. — Я не могу этого объяснить тебе, но и я видел княжну Терезу — или ее тень — на том же самом месте, перед окном. Было это на пирушке, когда Виоланта упала в обморок от страха и кричала, что видела духа. Виоланта ее тоже видела.

Бенедикт был совершенно бледен. Он подошел ко мне поближе.

— Стало быть, и ты? — спросил он и взял меня за руку.

— Да, она возносилась в голубовато-зеленом лунном свете, прекрасная, бледная и величавая, как твоя святая, а за нею неясно обрисовывались башни и купола города в серебристой мгле лунной ночи...

Я вдруг умолк и подошел к окну, внутри у меня блеснула мысль.

— Почему ты замолчал? Куда смотришь? — спросил Бенедикт.

— Взгляни, — начал я с торжествующей гордостью философа, который нашел долго скрываемую правду, — взгляни, мой Бенедикт, на эти нагроможденные кровли. Здесь от широкого подоконника перед окном начинаются извилистые гребни крыш, вплоть до самого монастыря, и дальше до дворца, где княжна раньше жила. Нормальному человеку совершенно невозможно сделать хотя бы три шага по крутым скатам, — нормальному человеку, говорю я, — но что, если бы княжна Манфреди была лунатиком? Помни, что и ты, и я, мы видели ее явление — или ее тень — в потоках яркого лунного света...

В ту же минуту победоносное выражение на моем лице исчезло, потому что на лице моего друга появилось то же победоносное выражение, но такое загадочное, такое безобразное, что я сам испугался, сам не зная, почему. В эту минуту один бог знает, что бы я дал, чтоб это слово — «лунатик» — не было мною произнесено. Я немного успокоился, когда Бенедикт покачал через минуту головой. Он сказал, что твердо убежден, что по этим крышам даже лунатик не мог бы ходить; кроме того, прибавил он, Терезе бы-

ло невозможно попасть из монастыря на крышу. Он был убежден, что это была ее душа, и опять сослался на Плиния. Потом Бенедикт написал несколько имен писателей, которые говорили о магии и спиритизме, и просил меня узнать, есть ли их произведения в книжных лавках. Этот вопрос, сказал он, его вдруг очень заинтересовал, и он хотел бы им заняться.

Я ушел почти совершенно успокоенный, но дома у меня начали бродить мысли. Я чувствовал какой-то неопределенный страх, и меня непрестанно тянуло просить в монастыре свидания с княжной. Потом это казалось мне почти безумием. Что бы я сказал? Затем я снова начинал раздумывать об Аполлонии из Тиана и о его видениях: то я считал его великим магом, то обманщиком, и опять вспоминал княжну Терезу. Так провел я весь день; вечером побежал к Бенедикту, но не застал его ни дома, ни в мастерской. Я напрасно долго стучал и звонил, и кончил тем, что долго ходил сердитый по улицам. Прошел около винного погреба, и там, наконец, я увидал Бенедикта.

Он был довольно весел, но те, с которыми он сидел, были для меня людьми настолько отвратительными, что я не вошел. Я вернулся домой и, усталый, сейчас же лег, однако довольно быстро проснулся от первого сна и не заснул больше во всю ночь.

Месяц светил, как рыбье око, занавеси были спущены, но через одну скважину в комнату пробивался лунный свет и образовывал на полу круглые серебристые пятна, точно лужи после дождя. Я не мог оторвать глаз от этих светлых пятен, и они скоро стали мне казаться озером, прозрачной, глубокой, бездонной водой, в которую бросилась княжна Тереза, и выражение какого-то отчаяния в ее глазах вывело меня из полудремоты, в которую я на минуту впал. Я сел на постели, сердце усиленно билось от страха, голову я держал обеими руками, точно она склонялась от тяжелого удара.

Когда же рассвело, я быстро оделся и, не думая о том, что Бенедикт, может быть, еще спит, поспешил к нему. Дом был уже отворен, и я встретил его сидящим на ступеньках

у самого порога в мастерскую. Услыхав мои шаги по лестнице, он взглянул — и я ужаснулся его вида. Он был бледен, как мертвец. Он подал мне дрожащую руку — она была в крови.

Я чувствовал, что у меня остановился ком в горле.

— Я только что хотел идти к тебе за советом, — прошептал Бенедикт.

Я испугался и чувствовал, как бледнею.

— Ради самого Бога! Ты совершил убийство? — проговорил я чуть слышно. Он кивнул головой, и потом тихо прибавил: «Еще хуже». Он приложил палец ко рту в знак того, чтобы я молчал, затем осторожно втащил меня в мастерскую и запер дверь на два замка. В мастерской, действительно, было точно после сражения: изломанные стулья лежали на полу, длинная занавесь постели во вкусе Ренессанса была наполовину разорвана, а кинжал с мозаичной рукояткой, выложенной жемчугом, который Бенедикт привез когда-то из Венеции, сверкал на земле без ножен, где-то недалеко от окна, точно гад.

На постели кто-то лежал без движения. Я отдернул занавесь, и у меня застыла кровь, сердце остановилось и в глазах потемнело: на постели лежала княжна Тереза Манфреди в черном монашеском одеянии, ее глаза были устремлены на потолок, уста раскрыты, покрывало откинуто, волосы рассыпались в беспорядке. Руки и ноги были крепко связаны. Я подбежал к окну, схватил венецианский кинжал, разом перерезал путы несчастной девушки; потом на минуту задумался, не вонзить ли кинжал в собственную грудь или в сердце Бенедикта. Вздох из бледных дрожащих уст вдруг обратил мое внимание на девушку. Ее тело было неподвижно, но ее развязанные руки точно сами собой упали по сторонам. Я коснулся ее руки, она была ледяная. Но ги у меня затряслись, силы изменили, и я упал около постели на колени, лицо зарыл в складки ковра, покрывавшего постель. Так оставался я долго-долго без движения. Над моим ухом раздался голос Бенедикта — чуть слышный шепот.

— Ты угадал, она лунатик... Вчера ночью она опять при-

шла к окну. Я караулил ее в тени, как убийца, как дикий зверь... Такая любовь, как моя, равняется ненависти... Я падал с пропасти в пропасть, пока не очутился в двух шагах от ада... Я не был зверем, я был дьяволом... Я схватил протянутые руки, не понимаю, как она не проснулась, я чувствовал свое собственное хрипение... Она улыбалась и шептала мое имя... Это не тронуло меня! Теперь ты видишь, что я навеки погиб... Я повел ее к кровати... Она проснулась в моих объятиях...

Я молчал, мои зубы стучали.

— Мерзавец! — заскрежетал я зубами и поднял кинжал.

Бенедикт опустил перед оскорблением голову, но не отступил назад, увидав кинжал. Тереза сделала движение на постели и мой нож упал. За мной опять раздался шепот Бенедикта:

— Этим ножом она хотела себя пронзить; когда я вырвал его у нее, она хотела выброситься из окна... мы боролись, она меня ранила и, чтобы ее спасти, я ее связал...

— Спасти! — я горько улыбнулся.

— Что теперь делать? Что делать? — тихо жаловался Бенедикт.

— Да, что делать? — повторил я с отчаянием; уничтоженные, мы не знали, что предпринять.

Вдруг княжна Тереза села на постели, и я никогда не забуду ее полубезумный взгляд, полный отчаяния, который блуждал по мастерской. На дворе было ясно, солнце улыбалось, и воздух был полон веселым чириканьем воробьев. Каким неестественным, загадочным казалось мне наше положение! Я каждую минуту ждал, что я проснусь от этого мучительного сна и вернусь к повседневной действительности.

Княжна Манфреди закрыла лицо руками и долго оставалась без движения. Вдруг она обратила ко мне свое бледное лицо и устремила глаза куда-то в пространство. Она заговорила тихим голосом, точно говоря сама с собой:

— Я еще ребенком была лунатик... Я думала, что давно излечилась, то же думали все в доме. Теперь я вижу, что мы ошибались. Как для меня все ясно, — все произшедшее со мной... Бросьте кинжал... Я тоже виновата... Если бы я

не думала непрестанно о нем... — она подняла палец и указала на то место, где стоял Бенедикт, — если бы моя душа не была полна одним видением, если бы я и в монастыре, как и в отцовском доме, не продолжала мечтать о нем, мои ноги не принесли бы меня сюда... Теперь для меня все ясно... все, все, все...

Голова ее склонилась, но по лицу Бенедикта пробежала молния, выражение сладкой надежды, он подошел к ней ближе.

— Если бы было возможно, чтобы ты меня простила, Тереза! — воскликнул он.

Тереза задрожала.

— Никогда! — прошептала она, и когда он подошел еще ближе, она вскочила с кровати, схватила меня за руку и крепко прижалась к моей груди. У меня сильно забилось сердце, она искала у меня убежища, точно птичка, преследуемая змеей. Ужас, который держал до сих пор мое сердце точно в тисках, пропал и уступил место глубокой жалости, горькие слезы капали из моих глаз на белый, опозоренный, но все-таки чистый ее лоб. Она чувствовала это и обратила ко мне свои полудетские глаза, что-то вроде улыбки благодарности заиграло вокруг ее губ, и она еще крепче прижалась ко мне.

— Отведите меня, отведите меня, — просила она нежным детским голосом.

— Но куда, куда? — со страхом воскликнул Бенедикт.

— В монастырь, — ответила она просто, и всем ее существом овладела удивительная энергия. Она казалась мне почти спокойной, голос звучал ясно, но как-то неестественно чуждо, когда она прибавила: — Я покаюсь во всем, что со мной произошло. Может быть, меня просто привяжут на ночь к постели или запрут в келье. Может быть, меня убьют; может быть, с позором выгонят. Их дело — действовать, а мое — принимать все, что Господь ниспошлет мне. Я — вещь, я больше не человек. Для меня все едино. Прошу вас, отведите меня.

Она была права: что другое оставалось ей делать, как не вернуться в монастырь? Я осмотрел мастерскую, ища чего-

нибудь, чем бы несчастная девушки могла закрыть свою монашескую одежду, чтобы не обратить на себя внимание на улице. В углу мастерской висел род плаща с капюшоном, Виоланта его как-то принесла сюда и забыла. Бенедикт понял, что я ищу, и принес плащ, он хотел подать его княжне. Она глухо вскрикнула, когда он приблизился, и бросилась ко мне. Я сам подал ей плащ. Я чувствовал, какую я делаю профанацию, надевая на несчастную девушку нарядные шелковые лоскутья развратницы. Я подал ей руку, чтобы она оперлась на нее, но она отказалась; она предпочла держаться за стену, и она вышла так, пошатываясь, из мастерской, по лестнице, по двору, поросшему травой. Бенедикт смотрел на нас сверху.

Тереза во все время короткого пути не произнесла ни одного слова, и лишь когда мы были совсем близко от монастыря, вдруг спросила у меня дрожащим голосом:

— Скажите, если бы я призналась во всем... понимаете, во всем... имело ли бы это какие-нибудь последствия для... для... — она не могла дальше говорить.

— Имело бы, — коротко ответил я, и в ту же минуту мы подошли к форточке. Я позвонил.

— Благодарю, — сказала девушка, и упала без чувств на порог. Я услыхал испуганный крик в коридоре монастыря, потом форточка отворилась, какая-то темная женская фигура наклонилась в полумраке над бесчувственной Тerezой. Я больше не ждал и, взглянув на прощанье на ее мраморное лицо, убежал из монастыря...

Прошло четверть года; не спрашивай, дорогой маэстро, как я жил в это время, что испытывал Бенедикт, что княжна сказала в монастыре, как далеко покаялась, что с нею было, — все навсегда останется тайной. Но однажды утром нас удивило известие в какой-то клерикальной газете о том, что княжна Тереза Манфреди сократит время искуса, и что уже на следующей неделе последует ее пострижение, что она стремится к миру, познавши щету света и всех его наслаждений. Эта газетная фраза тронула меня больше, чем какая-нибудь трагедия Эсхила. Я отправился к Бенедикту, с которым мы за все это время мало виделись. Мы ни-

когда не говорили о том страшном произшествии, и имя княжны Манфреди никогда не произносилось нами. Бенедикт рисовал картину святой Терезы всегда со слезами на глазах, но если отчаяние превозмогало, он рисовал другую, ужасную, никогда не оконченную... Она изображала монахиню, погруженную в немое отчаяние на своей постели в келье, откуда с хохотом убегал какой-то грубый воин. Через окно был виден дым пылавшего монастыря; у воина было лицо Бенедикта, а у монахини отчаянный, полубезумный взгляд княжны Манфреди, когда она возвращалась после своего несчастья к жизни...

Бенедикт сидел у окна, ожидая моего посещения. Мы в первый раз говорили о княжне после того страшного случая. Мы оба плакали и сговорились пойти в костел. Видеть ее еще раз, в последний, было нам обоим так же необходимо, как солнце и воздух.

Злополучный день настал. Вход в монастырь был только по билетам. Не знаю, как Бенедикт достал их. В костеле было в сборе все, так называемое, лучшее пражское общество; я и Бенедикт были одни случайные плебеи. Мы стали в стороне и думали, что нас не будет видно из алтаря.

Не требуй, чтобы я тебе все подробно описал. Я не знаю ничего определенного из происходившего, ведь это все было, как легкое сновиденье. Я видел княжну Терезу Манфреди в длинном белом шелковом одеянии, сверкающем золотом и дорогими камнями, видел ее бледное мраморное лицо, ее серые глаза, которые здесь, под луной, по мечтательности нельзя ни с чем сравнить, но видел все через туман своих слез. Я смотрел, как ее водили кругом, что-то говорили, но что — не знаю! Тереза не бросила ни единого взгляда на окружающих. Когда она говорила, я слышал только сладкую музыку ее голоса, но не понимал, какие она слова произносила. По временам этот ясный энергичный голос казался мне таким же неестественным, как в тот раз в мастерской Бенедикта. Несчастный Бенедикт держал меня за руку, и я чувствовал, как он ее все крепче и крепче сжимает, и его дыхание было такое тяжелое и громкое, что оно должно было раздаваться по всей церкви. Теперь на-

тал момент, когда Тереза, согласно обряду, легла на землю, и к ней подошли с покровом, чтобы покрыть... Ей что-то шептали, она поступала против предписаний, а именно — она подняла вдруг голову и в первый раз в течение всего обряда взглянула на общество, взглянула пристально и без всякого стыда. Она сразу же увидала Бенедикта, точно зная, где его искать. Ее глаза были неестественно расширены, и они впились в лицо Бенедикта, опиравшегося, почти без сознания, о стену. Княжне Терезе уже громче напоминали, в обществе начали перешептываться. Тереза не обращала внимания, ее грудь подымалась, в сером глазу блеснула большая слеза, одна, которую я видел и тогда у несчастной девушки... У алтаря стали нетерпеливы, покров упал на нее. Она должна была лежать под ним неподвижно, так требовалось обрядом, но покров два раза приподнимался, и оттуда два раза тихо поднялись руки девушки... Потом тяжелая ткань осталась неподвижной, но из-под темных складок послышалось какое-то слабое хрипение.

В костеле поднялся шум, женщины побледнели, мужчины сделались беспокойны, только у алтаря все шло по положению... Тереза тихо лежала, а Бенедикт положил мне голову на плечо, как ребенок. Тереза должна была встать, — она не шелохнулась. Раздались крики, одна из дам подала свой флакон. Подняли Терезу, вокруг усиливался еще более громкий шум. Известный фешенебельный врач, находившийся тут, подошел к ней и взял ее за руку.

— Она мертва... — сказал он через минуту.

А слеза до сих пор блестела в погасшем сером глазу...

Я не знаю, как мы с Бенедиктом вернулись домой. Он долго был болен. Я думал, что он сойдет с ума. Его днем и ночью преследовали глаза монахини, выражавшие отчаяние. Он не мог себе иначе представить Терезу, как связанной, с полубезумными глазами, на старинной постели, за занавесью. Его силы надломлены. Врач советует ему перемену обстановки. Никто не имеет на Бенедикта такого влияния, как ты, наш дорогой маэстро. Ты один прогонишь Эвменид, которые накидываются на этого несчастного подобно шипящим змеям. Он, наконец, согласился поехать к те-

бе в Пасси. Мне долго не удавалось вывести его из этой страшной летаргии.

— Откуда бы я взял сил, — сказал он, — передать моему дорогому маэстро все происшедшее? Расскажи ему все, все, не щади меня... Напиши ему всю правду.

И я сделал то, о чем он меня просил... Никогда и никому больше не буду я рассказывать о княжне Манфреди. Я поеду на восток, потому что и мне нужна перемена обстановки, мне нужно забыть. Забыть! Какое это пустое слово... О, маэстро, дорогой мой маэстро, почему мне не признаться тебе, ведь ты, может быть, и сам уже догадался?.. И я любил эту женщину...

Примечания

Повесть «Дом под утопающей звездой» была впервые опубликована в журнале «Květy» в 1894 г. Первое отдельное издание вышло в 1897 г. Публикуется по изд.: Зейер Ю. Дом под утопающей звездой. Пер. с чешск. Вл. Ленского. СПБ.: Кн-во «Мир» В. Л. Богушевского, [1909].

Новеллы «Inultus: Пражская легенда» и «Тереза Манфреди» публикуются по изд.: Зейер Ю. За родину (Inultus). Тереза Манфреди. С чешск. Пер., предисл. и биогр. В. П. Глебовой. Пг., 1918. Нами восстановлено авторское заглавие новеллы «Inultus», вошедшей в цикл «Tři legendy o krucifixu» («Три легенды о распятии»), впервые опубликованный в журн. «Lumír» в 1892 г. Иллюстрация к новелле выполнена К. Боуда.

Все тексты публикуются в новой орфографии. Пунктуация приближена к современным нормам. Подстраничные примечания принадлежат составителю.

В оформлении обложки использован эксиз иллюстрации к повести работы Я. Конупека. На фронтиспise портрет Ю. Зейера работы Я. Вилимека.

Оглавление

Дом под утопающей звездой	6
Inultus: Пражская легенда	119
Тереза Манфреди	142
П р и м е ч а н и я	178

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.